

Чарлз Дарвин

ВОСПОМИНАНИЯ О РАЗВИТИИ МОЕГО УМА И ХАРАКТЕРА

Ч. Дарвин. Сочинения, т.9, стр. 166-242, Изд-во АН СССР, Москва, 1959

Когда один немецкий издатель обратился ко мне с просьбой рассказать о развитии моего ума и характера и дать краткий очерк моей автобиографии, я подумал, что такая попытка развлечет меня и, быть может, представит интерес для моих детей и внуков. Знаю, что мне самому было бы очень интересно прочитать даже самый краткий и скучный очерк о складе ума моего деда, написанный им самим, - о чем он думал, что делал и как работал. Нижеследующий рассказ о самом себе я старался написать так, словно бы меня уже не было в живых и я оглядывался бы на свою жизнь из другого мира. И не скажу, чтобы это было для меня трудно, ибо жизнь моя почти закончена. О стиле изложения я совершенно не заботился.

Детство

Я родился в Шрусбери 12 февраля 1809 г. Мне приходилось слышать от отца, что, по его мнению, люди с сильной памятью обычно обладают воспоминаниями, уходящими далеко назад, к очень раннему периоду их жизни. Не так обстоит дело со мною, ибо самое раннее мое воспоминание относится лишь к тому времени, когда мне было четыре года и несколько месяцев, - мы отправились тогда на морские купанья близ Абергела, и я помню, хотя и очень смутно, некоторые события и места, связанные с пребыванием там.

Моя мать умерла в июле 1817 г., когда мне было немногим более восьми лет, и странно, я почти ничего не могу вспомнить о ней, кроме кровати, на которой она умерла, ее черного бархатного платья и ее рабочего столика какого-то необычайного устройства. Думаю, что это забвение моих воспоминаний о ней возникло отчасти благодаря моим сестрам, которые были так глубоко опечалены ее смертью, что никогда не могли говорить о ней или упоминать ее имя, а отчасти - из-за болезненного состояния, в котором она находилась перед смертью. Весною того же года меня отдали в школу для приходящих учеников в Шрусбери, в которой я пробыл в течение одного года. До того, как я начал ходить в школу, со мной занималась моя сестра Каролина, но я сомневаюсь в том, шли ли эти занятия успешно. Мне рассказывали, что я проявлял в учении гораздо меньше сообразительности, чем моя младшая сестра Кэтрин, и мне думается, что во многих отношениях я не был послушным мальчиком. Каролина была в высшей степени добра, способна и усердна, но она проявляла слишком большое усердие в стремлении исправить меня, ибо, несмотря на то, что прошло так много лет, я и сейчас отчетливо помню, как, входя в комнату, где она находилась, я говорил себе: «А за что она сейчас начнет порицать меня?» И я упрямо решил отнестись с полным безразличием ко всему, что бы она ни сказала.

К тому времени, когда я стал посещать школу для приходящих учеников, у меня уже отчетливо развился вкус к естественной истории и особенно к собиранию

коллекций. Я пытался выяснить названия растений и собирал всевозможные предметы: раковины, печати, франки монеты и минералы. Страсть к коллекционированию, приводящая человека к тому, что он становится натуралистом-систематиком, ценителем произведений искусства или скупцом, была во мне очень сильной и, несомненно, врожденной, так как ни мои сестры, ни мой брат никогда не имели этой склонности.

Одно небольшое событие этого года прочно запечатлелось в моей памяти; полагаю, оно запомнилось так сильно потому, что впоследствии тяжко мучило мою совесть. Событие это любопытно в том отношении, что, как оно показывает, в этом раннем возрасте меня, по-видимому, интересовала изменчивость растений! Я сказал одному маленькому мальчику (кажется, это был Лейтон, ставший впоследствии известным лихенологом и ботаником), что могу выращивать полиантусы и примулы различной окраски, поливая их теми или иными цветными жидкостями; это была, конечно, чудовищная выдумка, я никогда даже не пытался сделать что-либо подобное. Могу здесь признаться также, что в детстве я нередко сочинял заведомый вздор и притом всегда только для того, чтобы вызвать удивление окружающих. Однажды, например, я сорвал с деревьев, принадлежавших моему отцу, много превосходных фруктов, спрятал их в кустах, а затем сломя голову побежал распространять новость о том, что я обнаружил склад краденых фруктов.

Около этого времени, а быть может, в несколько более раннем возрасте, я крал по временам фрукты с целью самому полакомиться ими, и один из примененных мною способов не лишен был изобретательности. Огород, который вечером запирали на замок, был окружен высокой стеной, но по соседним деревьям я легко взбирался на гребень стены. Затем я укреплял длинную палку в отверстии на дне достаточно вместительного цветочного горшка и тащил горшок кверху, подводя его к готовым упасть персикам и сливам, которые при этом падали в горшок, и таким образом желанная добыча была обеспечена. Помню, будучи еще очень маленьким мальчиком, я воровал яблоки в саду, чтобы снабжать ими нескольких мальчиков и молодых людей, живших в коттедже по соседству, но прежде чем отдать им краденые плоды, я хвастливо показывал им, как быстро я умею бегать, и, как это ни удивительно, я совершенно не понимал того, что изумление и восторг по поводу моей способности быстро бегать они выражали с той только целью, чтобы получить яблоки. Но я хорошо помню, в какое восхищение приводило меня их заявление, что они никогда не видели мальчика, который бы так быстро бегал!

Отчетливо помню только еще одно событие, относящееся к году моего пребывания в школе м-ра Кейса для приходящих учеников: похороны солдата-драгуна. Удивительно, как ясно я еще и сейчас представляю себе лошадь, к седлу который были подвешены пустые сапоги и карабин драгуна, и стрельбу над могилой. Эта картина глубоко взволновала поэтическое воображение, каким только я обладал в то время.

Когда я кончил школу, я не был для моих лет ни очень хорошим, ни плохим учеником; кажется, все мои учителя и отец считали меня весьма заурядным мальчиком, стоявшим в интеллектуальном отношении, пожалуй, даже ниже среднего уровня. Я был глубоко огорчен, когда однажды мой отец сказал мне: «Ты ни о чем не думаешь, кроме охоты, собак и ловли крыс; ты опозоришь себя и всю нашу семью!» Но отец мой, добрейший в мире человек, память о котором мне бесконечно дорога, говоря это, был, вероятно, сердит на меня и не совсем справедлив.

Я могу добавить здесь несколько страниц о моем отце, который во многих отношениях был замечательным человеком.

Около 6 футов и 2 дюймов ростом, он был широк в плечах и весьма тучен; более крупного человека я никогда не встречал. Когда он в последний раз взвешивался,

вес его составлял 24 стона [152 кг], но после того он еще много прибавил в весе. Главными чертами его характера были наблюдательность и сочувственное отношение к людям; я не знаю никого, кто обладал бы этими качествами в большей мере, чем он, или хотя бы в такой же мере. Он сочувственно относился не только к чужим несчастьям, но и в еще большей степени - к радостям всех окружающих его людей. Именно поэтому он всегда старался придумать, каким способом доставить удовольствие другим, и - хотя терпеть не мог расточительности - часто совершал великодушные поступки. Однажды, например, к нему пришел м-р Б., мелкий фабрикант в Шрусбери, и сказал, что ему [м-ру Б.] грозит банкротство, если он не сможет немедленно занять у кого-либо 10 000 фунтов; он не в состоянии представить гарантию, имеющую юридическую силу, но может привести ряд доводов, доказывающих, что в конце концов он вернет свой долг. Отец выслушал его и, обладая способностью интуитивно понимать характер людей, почувствовал уверенность в том, что этому человеку можно доверять. Хотя требуемая сумма была очень велика для отца в те годы (он был тогда еще молод), он дал ее взаймы и через некоторое время получил свои деньги обратно.

Его отзывчивость и была, я думаю, причиной того, что он умел завоевать безграничное доверие и вследствие этого пользовался большим успехом как врач. Он начал практиковать, когда ему не было ещё двадцати одного года, но уже в течение первого же года его заработков хватало на то, чтобы оплачивать содержание двух лошадей и слуги. В следующем году практика его еще более выросла, и на таком уровне она удерживалась около шестидесяти лет, после чего он прекратил врачебную деятельность. Его огромный успех как врача был тем более поразителен, что сначала, как он рассказывал мне, он до такой степени ненавидел свою профессию, что если бы мог рассчитывать на самые жалкие средства или если бы его отец предоставил ему хоть какой-нибудь выбор, ничто не заставило бы его заняться ею. В последние годы жизни даже самая мысль об операции вызывала у него отвращение, и он почти не выносил вида кровоточащего человека; этот страх был передан им и мне, и я помню, с каким ужасом читал я в школьные годы о том, как Плиний (кажется, он) истек кровью в теплой ванне. Отец рассказывал мне о двух старинных случаях, связанных с кровотечением. Один из них произошел с ним, когда, будучи очень молодым человеком, он стал масоном. Его приятель масон, притворяясь, будто он понятия не имеет о том сильном волнении, которое вызывает у отца вид крови, как бы непреднамеренно сказал ему, когда они направлялись на собрание [масонской ложи]: «Я полагаю, что вас не беспокоит потеря нескольких капель крови?» Когда отца принимали в члены [ложи], ему завязали глаза и отвернули вверх рукава пиджака. Не знаю, совершается ли и сейчас подобная церемония. Отец упоминал об этом случае как о превосходном примере силы воображения, ибо он отчетливо чувствовал, как кровь тонкой струйкой стекала по его руке, и едва мог поверить своим глазам, когда затем не мог обнаружить на руке даже следа укола.

Один опытный лондонский мясник, работавший на бойнях, пришел однажды за советом к моему деду, и в это время к тому [в кабинет] внесли другого тяжело больного человека; мой дед решил тут же сделать ему кровопускание с помощью присутствовавшего здесь лекаря. Мясника попросили держать руку больного, но он извинился и вышел из комнаты. По окончании визита он объяснил моему деду, что хотя, как он полагает, он своими собственными руками убил больше животных, чем кто-либо другой в Лондоне, однако, - как ни покажется странным, - он несомненно лишился бы чувств при виде крови пациента.

Способность отца внушать доверие побуждала многих его пациентов, особенно дам, советоваться с ним о всяческих своих бедах словно с каким-нибудь духовником. Он говорил мне, что они всегда начинают с неопределенных жалоб на

свое здоровье, но опыт позволял ему очень быстро догадываться, о чем в действительности идет речь. Тогда он внушал им, что болезнь их воображаемая, после чего они изливали пред ним все свои жизненные печали и уже больше ничего не говорили о своих телесных недугах. Обычным объектом жалоб были семейные ссоры. Если к нему обращались мужья с жалобами на своих жен и ссора казалась серьезной, отец рекомендовал им (и его совет всегда достигал цели, если только муж следовал ему буквально, что бывало не во всех случаях) поступать следующим образом. Муж должен был сказать своей жене: он очень огорчен тем, что их совместная жизнь не идет счастливо; он уверен, что его жена была бы счастливее, если бы они жили раздельно; он ни в малейшей степени не считает ее в чем-либо виноватой (вот этот пункт муж чаще всего отказывался принять); он не будет выражать упреков по ее адресу никому из ее родственников или друзей; и, наконец, он готов выделить ей настолько большую часть своих средств, насколько это в его возможностях. Затем он должен был попросить ее обдумать это предложение. Так как придаться было не к чему, ее раздражение проходило, и вскоре она вынуждена была понять, и каком неудобном положении она оказалась: она не могла противопоставить никаких обвинений, а развод был предложен не ею, а мужем. Как правило, дама начинала умолять своего мужа не настаивать на разводе и в дальнейшем обычно вела себя гораздо лучше.

Благодаря искусству отца завоевывать доверие, ему приходилось выслушивать немало необычных признаний о несчастиях и виновности. Не раз отец говорил, что знал много несчастных жен. В иных случаях мужья и жены прекрасно жили друг с другом двадцать-тридцать лет, а затем начинали жестоко ненавидеть друг друга; отец объяснял это тем, что, когда их дети вырастали, родители теряли то общее, что прежде связывало их.

Но самой замечательной способностью отца было его умение определять характер и даже читать в мыслях людей, с которыми он сталкивался хотя бы на короткое время. Мы знали много примеров этой его способности, и некоторые из них казались почти сверхъестественными.

Эта способность всегда спасала моего отца (за единственным исключением, но и в этом случае характер того человека был вскоре разоблачен) от дружбы с недостойными людьми. В Шрусбери приехал какой-то неизвестный священник, производивший впечатление богатого человека; все наносили ему визиты, и он был приглашен во многие дома. Отец также нанес ему визит, но, вернувшись домой, сказал сестрам, чтобы они ни в коем случае не приглашали ни его, ни членов его семьи к нам в дом, так как убежден, что этому человеку нельзя доверять. Через несколько месяцев священник неожиданно исчез, оказавшись кругом в долгах, и выяснилось, что он мало чем отличается от самого обыкновенного мошенника. А вот пример доверия, пойти на которое рискнули бы очень немногие. Однажды к отцу пришел какой-то совершенно незнакомый ему джентльмен, ирландец, и сказал, что он потерял кошелек и что для него было бы большим неудобством дожидаться в Шрусбери денежного перевода из Ирландии. Он просил отца одолжить ему 20 фунтов, и отец тотчас же сделал это, так как был уверен, что рассказ не вымышлен. Как только наступил срок, необходимый для того, чтобы письмо из Ирландии могло дойти до Шрусбери, письмо действительно было получено; с самыми пространными выражениями благодарности ирландец писал, что прилагает к письму кредитный билет Английского банка в 20 фунтов, однако никакого кредитного билета в письме не было. Я спросил отца, не заставило ли это его поколебаться в своем мнении, но он ответил: «Ни в малейшей степени!» И действительно, на другой день от ирландца было получено второе письмо, в котором он всячески просил извинить его за то, что он позабыл (как и подобает истинному ирландцу) вложить кредитный билет в письмо, посланное накануне.

Один родственник моего отца просил у него совета относительно своего сына, который был необычайно ленивым и не хотел приняться ни за какое дело. Отец сказал: «Полагаю, что ленивый молодой человек надеется на то, что я завещаю ему большую сумму денег. Скажите ему, что, как я сам заявил вам, я не оставлю ему ни одного пенни». Отец юноши со стыдом признался, что эта нелепая мысль действительно овладела его сыном, и спросил отца, каким образом он мог догадаться о ней, но отец ответил, что и сам совершенно не представляет себе, каким образом [у него возникла эта догадка].

Граф... привел к отцу своего племянника, душевнобольного, но очень спокойного поведения; болезнь молодого человека состояла в том, что он сам обвинял себя во всех преступлениях, какие только бывают под небесами. Беседуя впоследствии о больном с его дядей, отец сказал: «Я уверен, что ваш племянник действительно виновен... в отвратительном преступлении». И тогда граф... воскликнул: «Господи боже, доктор Дарвин, кто сказал вам об этом? Мы думали, что кроме нас ни одна душа об этом не знает!» Отец рассказал мне эту историю через много лет после того, как она произошла, и я спросил его, как отличил он правду от ложных самообвинений; он ответил мне, - и этот ответ очень характерен для моего отца, - что не в состоянии объяснить это.

Нижеследующая история показывает, как тонко отец умел строить догадки. Лорд Шелборн, впоследствии первый маркиз Лансдаун, славился (как отмечает где-то Маколей) своим знанием европейских дел и очень гордился этим. Он обращался к отцу за медицинскими советами и не раз беседовал с ним о положении дел в Голландии. Отец изучал медицину в Лейдене; однажды он предпринял длительную прогулку по Голландии совместно с одним приятелем, который пригласил его зайти к знакомому священнику (будем называть его преподобный м-р А., так как я забыл его фамилию), женатому на англичанке. Отец был очень голоден, а на завтрак почти ничего не было кроме сыра, которого он вообще не ел. Это удивило и огорчило престарелую леди, и она стала уверять отца, что сыр великолепный, его прислали ей из Бовуда, имения лорда Шелборна. Отца удивило, почему бы это ей присылали сыр из Бовуда, но он больше никогда не думал об этом, пока рассказанный эпизод не вспыхнул вдруг в его памяти много лет спустя, когда лорд Шелборн вел разговор о Голландии. И отец сказал: «Насколько я знал преподобного м-ра А., думаю, что это был очень способный человек, хорошо осведомленный о положении дел в Голландии». Отец заметил, как поразили эти слова лорда, который немедленно перевел разговор на другую тему. На следующее утро отец получил записку от лорда, в которой тот писал, что отложил намеченную поездку и очень хотел бы повидать отца. Когда отец пришел к нему, лорд сказал: «Доктор Дарвин, и мне и преподобному м-ру А. чрезвычайно важно знать, каким образом вы раскрыли, что он является источником моих сведений о Голландии». Отцу пришлось объяснить в чем дело, и лорд Шелборн, как полагал отец, был чрезвычайно поражен дипломатическим искусством, с каким отец проверил свою догадку, потому что на протяжении многих лет после того он получал от лорда много любезных посланий через различных друзей. Думаю, что лорд рассказал эту историю своим детям, потому что много лет назад сэр Ч. Ляйелл спросил меня, почему маркиз Лансдаун (сын или внук первого маркиза) проявляет столь большой интерес ко мне, которого он никогда не видел, и к моей семье. Когда в клуб «Атеней» избирали сорок новых членов (сорок «воров», как их тогда называли), многие стремились попасть в число их, и хотя я никогда не просил об этом, лорд Лансдаун предложил мою кандидатуру и добился моего избрания. Если я не ошибаюсь в своем предположении, то по странной связи событий то обстоятельство, что мой отец полвека назад не стал есть сыра в Голландии, привело к избранию меня в члены клуба «Атеней».

В молодости отец составлял иногда короткие записи о некоторых примечательных

событиях и разговорах и хранил эти записи в особом конверте.

Острая наблюдательность позволяла отцу с замечательным искусством предсказывать течение любой болезни, и он до мельчайших подробностей разрабатывал способы лечения ее. Мне рассказывали, что один молодой врач в Шрусбери, не любивший моего отца, постоянно говорил, будто применяемые им методы лечения совершенно ненаучны, но признавал, что его способность предсказывать исход болезни не имеет равной себе. Сначала, пока отец думал, что я стану врачом, он много рассказывал мне о своих пациентах. В прежние времена в качестве универсального метода лечения применялось обильное кровопускание, но мой отец утверждал, что оно приносит гораздо больше вреда, чем пользы; он советовал мне, если когда-нибудь я сам заболею, не разрешать ни одному врачу пускать мне кровь в количестве, превышающем самую малую дозу. Задолго до того, как брюшной тиф был признан особой болезнью, отец говорил мне, что под названным тифозной лихорадки смешивают два совершенно различных рода заболевания. Страстный враг пьянства, он был убежден, что в подавляющем большинстве случаев систематическое потребление алкоголя, хотя бы и в умеренных количествах, приносит вред как непосредственный, так и передающийся по наследству. Однако он допускал и приводил отдельные случаи, когда определенные лица могли в течение всей своей жизни пить много без каких-либо видимых дурных последствий для здоровья, и полагал, что часто он мог бы наперед сказать, кому это не принесет вреда. Сам он никогда в рот не брал ни капли какого бы то ни было алкогольного напитка. Последнее мое замечание напомнило мне об одном случае, показывающем, какую грубую ошибку может допустить свидетель даже при самых благоприятных обстоятельствах. Отец настойчиво убеждал одного джентльмена, фермера, не пить и, чтобы поощрить его, сказал, что сам он никогда не прикасается ни к чему спиртному. На это джентльмен возразил: «Э, нет, доктор, этот номер не пройдет! Хотя и очень любезно с вашей стороны, что вы говорите так для моей пользы, но я-то ведь знаю, что каждый вечер после обеда вы выпиваете большой стакан горячего джина с водой». Отец, конечно, спросил его, откуда он это знает, на что тот ответил: «Моя кухарка два или три года служила у вас помощницей повара и видела, как ваш лакей ежедневно готовил и относил вам джин и воду». Дело в том, что у отца была странная привычка пить после обеда горячую воду из очень высокого и объемистого стакана; лакей обыкновенно наливал в стакан сначала немного холодной воды, которую девушка и приняла за джин, а затем наполнял стакан кипятком из кухонного кипятильника.

Отец часто делился со мной множеством мелких наблюдений из своей медицинской практики, знание которых казалось ему полезным. Так, дамы часто горько плакали, рассказывая ему о своих тревогах, и это отнимало у него много драгоценного времени. Вскоре он заметил, что если просить их взять себя в руки и успокоиться, то это всегда заставляет их плакать еще сильнее; поэтому в дальнейшем он всегда давал им поплакать, говоря, что слезы принесут им большое облегчение, чем что-либо другое, - и неизменно в результате этого они быстро переставали плакать, и он получал возможность выслушать то, что они имели сказать ему, и дать им совет. Если тяжело больные пациенты страстно стремились получить какую-либо странную и противоестественную пищу, отец спрашивал их, как пришла им в голову такая мысль; если они говорили, что сами не знают, он разрешал им попробовать эту пищу (что часто приводило к успеху), так как полагался на то, что больным свойственны своего рода инстинктивные желания; но если они отвечали, что слышали, будто данная пища помогла кому-то другому, он наотрез отказывался санкционировать пользование ею.

Однажды отец привел любопытный маленький случай, характеризующий человеческую натуру. Когда он был совсем еще молодым человеком, его пригласили

к одному джентльмену, занимавшему видное положение в Шропшире, на консультацию с семейным врачом. Старый врач сказал жене [этого джентльмена], что, судя по характеру заболевания, исход должен быть фатальным. Отец держался иного взгляда и утверждал, что джентльмен выздоровеет. Выяснилось (вероятно, после вскрытия трупа), что отец был во всех отношениях не прав, и он признал свою ошибку. Он был, конечно, убежден, что никогда больше эта семья не будет обращаться к нему за советами; однако через несколько месяцев вдова прислала за ним, дав отставку старому семейному врачу. Это так удивило отца, что он попросил одного знакомого вдовы разузнать, почему она вновь обращается к нему за советом. Вдова ответила этому знакомому, что «она не хочет больше видеть этого противного старого доктора, который с первого же разу сказал, что муж ее умрет, тогда как доктор Дарвин все время утверждал, что тот поправится!» В другом случае отец сказал жене больного, что муж ее несомненно умрет. Через несколько месяцев он встретил вдову [этого человека], очень здравомыслящую женщину, и она сказала ему: «Вы еще очень молоды, и позвольте мне посоветовать вам, всегда, пока это возможно, оставляйте надежду близким родственникам, ухаживающим за больным. Вы привели меня в отчаяние, и с той минуты я потеряла силы». Отец говорил, что с тех пор он нередко считал наиболее важным поддерживать в интересах пациента надежду, а вместе с ней и бодрость у тех, кто за ним ухаживает. Иногда ему бывало трудно совместить это с правдой. Однако один старый джентльмен, м-р Пембертон, избавил его от подобного затруднения. М-р Пембертон пригласил его к себе и сказал: «На основании всего, что я сам видел и что слышал о вас, думаю, что вы принадлежите к числу правдивых людей и что поэтому в случае, если я спрошу у вас об этом, вы прямо скажете мне, что я близок к смерти. Мне очень хотелось бы, чтобы вы лечили меня, но только при том условии, если вы пообещаете, что бы я ни говорил, всегда утверждать, что я не умираю». Отец, хотя и неохотно, согласился, но на том условии, что слова больного действительно не будут иметь никакого значения.

У отца была необычайная память, особенно па даты, и он помнил, даже в глубокой старости, дни рождений, бракосочетаний и смерти огромного множества жителей Шропшира. Однажды он сказал мне, что эта его способность раздражает его, ибо раз услышав какую-нибудь дату, он не может забыть ее, и поэтому ему часто вспоминается смерть многих его друзей. Благодаря такой сильной памяти он знал очень много любопытных историй, которые любил рассказывать, так как был вообще охотник поговорить. Обычно он бывал в хорошем настроении, любил посмеяться и шутил с каждым - часто со своими слугами - совершенно непринужденно, и вместе с тем он обладал искусством заставлять каждого в точности повиноваться его указаниям. Многие очень боялись его. Вспоминаю, как однажды отец со смехом рассказал нам, что уже несколько человек спрашивали его, не приходила ли к нему мисс Пигготт - одна важная старая леди в Шропшире; когда, наконец, он пожелал узнать, почему его спрашивают об этом, ему сказали, что мисс Пигготт, которую отец чем-то смертельно обидел, заявляла всем и каждому, что она явится к «этому старому жирному доктору и выложит ему без обиняков все, что она о нем думает». И она действительно побывала у отца, но храбрость изменила ей, и трудно было бы представить себе более вежливую и дружескую манеру поведения. Мальчиком я как-то гостил в доме майора Б., жена которого была душевнобольной; каждый раз, как эта несчастная встречалась со мной, она впадала в состояние самого отчаянного страха, какой мне когда-либо приходилось видеть; она горько плакала и все снова и снова спрашивала меня: «Приедет ли твой отец?», но вскоре затем успокаивалась. Вернувшись домой, я спросил отца, почему она так напугана, и он ответил, что очень рад слышать это, так как намеренно запугал ее: он был уверен, что ее можно содержать в безопасности и в состоянии гораздо лучшего самочувствия, не лишая

ее свободы, если ее супруг, как только она будет впадать в буйное состояние, сможет воздействовать на нее угрозой послать за доктором Дарвином; и на протяжении всей ее дальнейшей долгой жизни слова эти действовали безотказно.

Отец был очень чувствительным человеком, вследствие чего его крайне раздражали и мучили многие незначительные обстоятельства. Однажды, когда он был уже стар и не мог ходить, я спросил его, почему бы ему не покататься немного для моциона; он ответил мне: «Каждая поездка за пределы Шрусбери вызывает в моей памяти какое-нибудь событие, причиняющее мне боль». И все же по большей части он бывал в хорошем настроении. Его легко было рассердить, но так как доброта его не знала границ, его любили очень многие и любили от всей души.

Он был осторожен в делах и умел хорошо вести их, - вряд ли когда-нибудь он потерял деньги, вложив их в какие-либо акции, и он оставил своим детям очень большое состояние. Помню одну историю, которая показывает, как легко возникают и распространяются самые вздорные слухи. М-р Э, помещик, принадлежавший к одной из самых старинных шропширских фамилий и состоявший главным компаньоном одного банка, покончил жизнь самоубийством. Для соблюдения формальностей послали за отцом, которому пришлось установить факт смерти. Для характеристики того, как велись в старину дела, упомяну мимоходом, что так как м-р Э. был весьма видным человеком и пользовался всеобщим уважением, никакого дознания в отношении трупа не было произведено. Вернувшись в Шрусбери, отец счел необходимым заехать в банк (где у него был счет), чтобы сообщить о случившемся руководителям банка, так как было весьма вероятно, что это самоубийство вызовет наплыв вкладчиков [желающих изъять свои деньги]. И вот, широко распространился слух, будто отец явился в банк, забрал все свои деньги, вышел из банка, затем вернулся и сказал: «Могу совершенно точно сообщить вам, что м-р Э. покончил с собой», после чего удалился. В те времена было, кажется, распространено поверье, будто деньги, изъятые из банка, оказываются в безопасности только тогда, когда владелец их перешагнет через порог банка. В течение некоторого времени отец ничего не знал об этой истории, пока однажды директор банка не сказал ему, что отступил от своего неизменного правила - никогда никому не показывать чужих счетов - и показал нескольким вкладчикам книгу, в которую был занесен счет отца, чтобы доказать, что отец не изъясил в тот день ни одного пенни. Было бы бесчестно со стороны отца воспользоваться сведениями, которые ему раскрывала его профессия, для своей личной выгоды. Тем не менее некоторые лица были в большом восхищении от мнимого поступка отца, и много лет спустя один джентльмен сказал отцу: «Ах, доктор, каким блестящим человеком дела вы оказались, когда так умно изъяли все свои деньги целыми и невредимыми из того банка!»

Отец не обладал научным складом ума и не пытался обобщать свои знания под углом зрения общих законов. Более того, он создавал особую теорию почти для каждого встречавшегося ему случая. Не думаю, что я много получил от него в интеллектуальном отношении, но в моральном отношении пример его должен был оказать большую пользу всем его детям. Одним из его золотых правил (хотя соблюдать это правило было не легко) было следующее: «Никогда не вступай в дружбу с человеком, которого ты не можешь уважать».

Об отце моего отца - авторе «Ботанического сада» и других сочинений - я привел все факты, которые мне удалось собрать в опубликованном мною жизнеописании его.

Рассказав так много о своем отце, я хочу добавить лишь несколько слов о моем брате и сестрах.

Мой брат Эразм обладал замечательно ясным умом, и у него были широкие и разнообразные интересы и знания в литературе, искусстве и даже в естественных

науках. В течение короткого времени он увлекался коллекционированием и гербаризацией растений, и несколько дольше - химическими экспериментами. Он был очень приятен в обращении, а его остроумие часто напоминало мне остроумие писем и произведений Чарльза Лэмба. Он был очень добросердечен; с самого детства он был слаб здоровьем, вследствие чего был мало энергичен. Он не отличался веселостью, и часто, особенно в начале и в середине его зрелых лет, у него бывало плохое настроение. Он много читал, даже в детстве, и в наши школьные годы побуждал меня к чтению, давая мне книги. Однако по складу ума и интересам мы были так непохожи друг на друга, что, как мне кажется, в интеллектуальном отношении я мало чем обязан ему, как и моим четырем сестрам, черты характера которых были весьма различны и - у некоторых из них - очень своеобразны. В течение всей своей жизни все они были исключительно добры и нежны по отношению ко мне. Я склонен согласиться с Френсисом Гальтоном, который полагает, что воспитание и окружающая обстановка оказывают только небольшое влияние на характер человека и что в большинстве своем качества наши - врожденные.

Приведенный выше очерк характера моего брата был написан мною до того, как Карлейль дал его характеристику в своих «Воспоминаниях»; мне кажется, что эта характеристика мало соответствует истине и не представляет никакой ценности.

Восстанавливая в памяти, - насколько я в состоянии сделать это, - черты моего характера в школьные годы, я нахожу, что единственными моими качествами, которые уже в то время подавали надежду на что-либо хорошее в будущем, были сильно выраженные и разнообразные интересы, большое усердие в осуществлении того, что интересовало меня, и острое чувство удовольствия, которое я испытывал, когда мне становились понятными какие-либо сложные вопросы или предметы. С Евклидом меня познакомил частный учитель, и я отчетливо помню то глубокое удовлетворение, которое доставили мне ясные геометрические доказательства. Так же отчетливо помню я, какое наслаждение мне доставил мой дядя (отец Френсиса Гальтона), объяснив мне устройство нониуса в барометре. Что касается различных интересов, не имеющих отношения к науке, то я любил читать разнообразные книги и часами просиживал за чтением исторических драм Шекспира, причем обычно я располагался в глубокой амбразуре окна старинного здания школы. Читал я также произведения и других поэтов - только что опубликованные тогда поэмы Байрона и Вальтер Скотта и «Времена года» Томсона. Упоминаю об этом потому, что в позднейшие годы моей жизни я, к великому моему сожалению, совершенно утратил вкус ко всякой поэзии, включая и Шекспира. Говоря об удовольствии, которое доставляла мне поэзия, могу прибавить, что в 1822 г., во время поездки верхом по окраинам Уэльса, во мне впервые пробудилась способность наслаждаться картинами природы, и эта способность сохранилась во мне дольше, чем способность к какому-либо другому эстетическому наслаждению.

В ранние годы школьной жизни я зачитывался принадлежавшей одному моему товарищу книгой «Чудеса мироздания» [The Wonders of the World] и обсуждал с другими мальчиками достоверность различных сведений, содержащихся в этой книге; думаю, что она-то впервые и заронила во мне желание совершить путешествие в дальние страны, что в конце концов и осуществилось благодаря моему плаванию на «Бигле». В конце пребывания в школе я стал страстным любителем ружейной охоты, и мне кажется, что едва ли кто-нибудь проявил столько рвения к самому святому делу, сколько я - к стрельбе по птицам. Хорошо помню, как я застрелил первого бекаса, - возбуждение мое было так велико, руки мои так сильно дрожали, что я едва в состоянии был перезарядить ружье. Эта страсть

продолжалась долго, и я стал отличным стрелком. Во время пребывания в Кембридже я упражнялся в меткости, вскидывая ружье к плечу перед зеркалом, что бы видеть правильно ли я прицелился. Другой и притом лучший прием состоял в том, что, наложив на боек ударника пистон, я стрелял в зажженную свечу, которой размахивал товарищ; если прицел был взят верно, то легкое дуновение воздуха гасило свечу. Взрыв пистонов сопровождался сильным треском, и мне передавали, что наставник колледжа как-то заметил по этому поводу: «Что за странное дело! Похоже на то, что мистер Дарвин целыми часами щелкает бичом у себя в комнате: я часто слышу щелканье, когда прохожу под его окнами».

Среди товарищей по школе у меня было много друзей, которых я горячо любил, и я думаю, что мои привязанности были тогда очень сильными. Некоторые из этих мальчиков были довольно способными, но должен добавить, что, согласно принципу «*noscitur a socio*», ни один из них не стал впоследствии сколько-нибудь выдающимся человеком.

Что касается моих научных интересов, то я продолжал с большим усердием коллекционировать минералы, но делал это совершенно ненаучно, - вся моя забота сводилась только к отыскиванию минералов с новыми *названиями*, но едва ли я пытался классифицировать их. С некоторым вниманием я, вероятно, наблюдал насекомых, ибо когда в десятилетнем возрасте (в 1819 г.) я провел три недели на взморье в Плас-Эдвардсе в Уэльсе, я был сильно заинтересован и поражен, обнаружив какое-то крупное черно-красного цвета полужесткокрылое насекомое, много бабочек (*Zygaena*) и какую-то *Cicindela*, какие не водятся в Шропшире. Я почти настроился на то, чтобы собирать всех насекомых, которых мне удастся найти мертвыми, потому что, посоветовавшись с сестрой, пришел к заключению, что нехорошо убивать насекомых только для того, чтобы составить коллекцию их. Прочитав книгу Уайта «Селборн», я стал с большим удовольствием наблюдать за повадками птиц и даже делал заметки о своих наблюдениях. Помню, что в простоте моей я был поражен тем, почему каждый джентльмен не становится орнитологом.

Когда я закапчивал школу, мой брат усердно занялся химией и устроил в саду, в сарае для рабочих инструментов, неплохую лабораторию с соответствующими аппаратами; он позволил мне помогать ему в качестве служителя при производстве большей части его опытов. Он приготавливал всевозможные газы и многие сложные соединения, и я внимательно прочитал несколько книг по химии, например, «*Chemical Catechism*» Генри и Паркса. Химия сильно заинтересовала меня, и нередко наша работа затягивалась до поздней ночи. Это составило лучшее, что было в образовании, полученном мною в школьные годы, ибо здесь я на практике понял значение экспериментального знания. О том, что мы занимаемся химией, каким-то образом проведали в школе, и так как факт этот был совершенно беспримерным, меня прозвали «Газ». Однажды директор школы д-р Батлер сделал мне даже выговор в присутствии всех школьников за то, что я трачу время на такие бесполезные дела, и совершенно несправедливо назвал меня «*roso curante*» [«легкомысленным»], а так как я не понял, что он имел в виду, то слова эти показались мне ужасным оскорблением.

Эдинбургский университет

Так как дальнейшее пребывание в школе было бесполезным для меня, отец благоразумно решил забрать меня оттуда несколько ранее обычного срока и отправил (в октябре 1825 г.) вместе с моим братом в Эдинбургский университет, где я пробыл два учебных года. Мой брат заканчивал изучение медицины, хотя не думаю, чтобы он когда-либо имел действительное намерение заняться практикой, я же был послан туда, чтобы начать изучение ее. Но вскоре после того я пришел - на

основании различных мелких фактов - к убеждению, что отец оставит мне состояние, достаточное для того, чтобы вести безбедную жизнь, хотя я никогда даже не представлял себе, что буду таким богатым человеком, каким стал теперь; этой уверенности оказалось, однако, достаточно для того, чтобы погасить во мне сколько-нибудь серьезное усердие в изучении медицины.

Преподавание в Эдинбурге осуществлялось преимущественно лекционным путем, и лекции эти, за исключением лекций Хопа по химии, были невыносимо скучны; по моему мнению, лекции не имеют по сравнению с чтением никаких преимуществ, а во многом уступают ему. Не без ужаса вспоминаю лекции д-ра Дункана по *Materia medica*, которые он читал зимою начиная с 8 часов утра. Д-р Монро сделал свои лекции по анатомии человека настолько же скучными, насколько скучным был он сам, и я проникся отвращением к этой науке. То обстоятельство, что никто не побудил меня заняться анатомированием, оказалось величайшей бедой в моей жизни, ибо отвращение я бы вскоре преодолел, между тем как занятия эти были бы чрезвычайно полезны для всей моей будущей работы. Эта беда была столь же непоправима, как и отсутствие у меня способности к рисованию. Я регулярно посещал также клинические палаты больницы. Некоторые случаи вызвали у меня тяжелые переживания, иные из них и сейчас еще живо стоят перед моими глазами, но я не был настолько глуп, чтобы из-за этого пропускать занятия. Не могу понять, почему эта часть моего курса медицины не заинтересовала меня сильнее, ибо летом, перед тем как я отправился в Эдинбург, я начал наносить в Шрусбери визиты некоторым беднякам, леча преимущественно детей и женщин; я составлял по возможности более подробные отчеты о каждом случае с указанием всех симптомов болезни и прочитывал их вслух отцу, который подсказывал мне, какие дальнейшие сведения необходимо собрать и какие лекарства следует прописать; лекарства эти я сам и изготовлял. Однажды у меня было сразу по крайней мере двенадцать пациентов, и я испытывал острый интерес к работе. Мой отец, который в отношении характера людей был наилучшим судьей какого я когда-либо встречал, говорил, что из меня получился бы весьма удачливый врач, разумея под этим такого врача, у которого будет много пациентов. Он утверждал, что главный залог успеха заключается в умении внушать доверие к себе; я не знаю, однако, какие качества он мог усмотреть во мне, которые привели его к убеждению, что я мог бы возбуждать доверие к себе. Дважды я посетил также операционный зал госпитальной больницы в Эдинбурге и присутствовал на двух очень тяжелых операциях, причем во время одной из них оперировали ребенка, но я сбежал, не дождавшись окончания их. Больше никогда уже я не ходил на операции, и вряд ли нашлась бы приманка столь притягательная, чтобы можно было с ее помощью заставить меня сделать это; то было задолго до благословенных дней хлороформа. В течение очень многих лет эти две операции буквально преследовали меня.

Брат мой оставался в университете только в течение одного года а на второй год я был предоставлен самому себе, и в этом было известное преимущество, ибо я сблизился с несколькими молодыми людьми, интересовавшимися естествознанием. Одним из них был Эйнсуорт, опубликовавший впоследствии описание своих путешествий по Ассирии; геолог-вернерианец, он обладал кое-какими знаниями о многих вещах, но был человеком поверхностным и весьма бойким на язык. Д-р Колдстрим был молодым человеком совсем другого типа: чопорный, церемонный, глубоко религиозный и очень добросердечный; впоследствии он опубликовал несколько хороших статей по зоологии. Третьим молодым человеком был Гарди, который, думаю, мог бы стать хорошим ботаником, но он рано умер в Индии. Наконец, д-р Грант, который был старше меня на несколько лет; не могу вспомнить, при каких обстоятельствах я познакомился с ним; он опубликовал несколько первоклассных работ по зоологии, но после того как он переехал в Лондон, где стал

профессором Университетского колледжа, он ничего больше не сделал в науке, - факт, всегда остававшийся для меня необъяснимым. Я хорошо знал его: он был сух и формален в обращении, но под этой наружной коркой скрывался подлинный энтузиазм. Однажды, когда мы гуляли с ним вдвоем, он разразился восторженной речью о Ламарке и его эволюционных воззрениях. Я выслушал его безмолвно и с удивлением, но, насколько я могу судить, его слова не произвели на мой ум никакого впечатления. Уже до этого я прочитал «Зоономию» моего деда, в которой отстаиваются подобные же воззрения, но и они не оказали на меня никакого воздействия. Тем не менее, вероятно, то обстоятельство, что уже в очень ранние годы моей жизни мне приходилось слышать, как поддерживаются и встречают высокую оценку такого рода воззрения, способствовало тому, что я и сам стал отстаивать их - в иной форме - в моем «Происхождении видов». В то время я очень восхищался «Зоономией», но, перечитав ее во второй раз через десять или пятнадцать лет, я был сильно разочарован крайне невыгодным соотношением между рассуждениями и приводимыми фактическими данными.

Доктора Грант и Колдстрим много занимались зоологией моря, и я часто сопровождал первого из них, собирая в лужах, остающихся после отлива, животных, которых анатомировал как умел. Я подружился также с несколькими рыбаками из Ньюхейвена, время от времени отправлялся с ними на траловый лов устриц и таким путем добыл много экземпляров [различных животных]. Но так как я не имел никаких систематических навыков в анатомировании и обладал лишь очень плохим микроскопом, мои попытки [производить наблюдения] были весьма жалкими. Тем не менее я сделал одно интересное маленькое открытие и в начале 1826 года прочитал в Плиниевском обществе краткое сообщение по этому вопросу. Открытие заключалось в том, что так называемые яйца *Flustra* обладают способностью самостоятельно двигаться при помощи ресничек; в действительности это были личинки. В другом небольшом докладе я показал, что маленькие шаровидные тела, которые считались молодыми стадиями *Fucus loreus*, представляют собою яйцевые коконы [egg-cases] червеобразной *Ponto bdella muricata*. Плиниевское общество пользовалось поддержкой профессора Джемсона и, как я полагаю, было им основано; оно состояло из студентов и собиралось в Университете, в комнате подвального этажа, для заслушивания и обсуждения работ по естественным наукам. Я аккуратно посещал заседания Общества, и они оказались полезным для меня, так как стимулировали мое усердие и способствовали новым знакомствам с людьми, интересовавшимися, как и я, естествознанием. Как-то вечером один неудачливый молодой человек встал, невероятно долго заикался и, наконец, густо покраснев от смущения, с трудом вымолвил: «Господин председатель! Я забыл, что я хотел сказать». У бедняги был совершенно подавленный вид, а все члены Общества были до того удивлены, что никто не мог придумать, что бы такое сказать, чтобы прикрыть его смущение. Сообщения, которые читались в нашем маленьком Обществе, не публиковались, вследствие чего я не получил удовольствия увидеть свою статью в печати, но мне кажется, что д-р Грант упомянул о моем маленьком открытии в своем превосходном мемуаре о *Flustra*.

Я состоял также членом Королевского медицинского общества и довольно аккуратно посещал его заседания, но так как вопросы там обсуждались исключительно медицинские, они не очень интересовали меня. Много вздора говорилось там, но было и несколько хороших ораторов, и лучшим из них был ныне здравствующий сэр Дж. Кэй-Шаттлуорт. Иногда д-р Грант приглашал меня на заседания Вернеровского общества, где докладывались, обсуждались и затем публиковались в «Трудах» [«Transactions»] Общества различные сообщения по естественной истории. Я слышал там Одюбона, прочитавшего несколько интересных лекций об образе жизни североамериканских птиц и не вполне справедливо

посмеивавшегося над Уотертоном. Отмечу кстати, что в Эдинбурге жил один негр, путешествовавший с Уотертоном; он зарабатывал себе на жизнь набивкой чучел птиц и делал это превосходно; он давал мне платные уроки [по набивке чучел], и часто я засиживался у него подолгу, так как это был очень приятный и умный человек.

М-р Леонард Хорнер также пригласил меня однажды на заседание Эдинбургского королевского общества, где я увидел на председательском месте сэра Вальтера Скотта; он просил собравшихся извинить его за то, что занимает столь высокое место, ибо чувствует, что недостойн его. Я смотрел на него и на все происходящее с благоговением и трепетом; думаю, благодаря тому обстоятельству, что в молодости я присутствовал на этом заседании и посещал также заседания Королевского медицинского общества, избрание меня несколько лет назад почетным членом обоих этих Обществ показалось мне более лестным, чем любые другие подобные почести. Если бы мне сказали тогда, что когда-нибудь в будущем мне будет оказана эта честь, клянусь, мне показалось бы это не менее смешным и невероятным, чем если бы мне заявили, что я буду избран королем Англии.

В течение второго года моего пребывания в Эдинбурге я посещал лекции профессора Джемсона по геологии и зоологии, но они были невероятно скучны. Единственным результатом того впечатления, которое они произвели на меня, было решение никогда, пока я буду жив, не читать книг по геологии и вообще не заниматься этой наукой. И все же я уверен, что был подготовлен к тому, чтобы разумно судить об этом предмете: года за два или за три до того один старик, проживавший в Шропшире, м-р Коттон, неплохо знакомый с горными породами, указал мне на большой эрратический валун, находившийся в городе Шрусбери, - хорошо всем известный «Колокол-камень»; заметив, что до самого Камберленда или даже до Шотландии не найти камня той же самой горной породы, он стал с важным видом уверять меня, что мир придет к своему концу прежде, чем кто-нибудь сможет объяснить, каким образом этот камень оказался там, где он лежит ныне. Это произвело на меня сильное впечатление, и я не переставал размышлять об этом необычайном камне. Поэтому, когда я впервые прочитал о роли айсбергов в переносе валунов, я испытал чувство величайшего наслаждения и торжествовал по поводу успехов геологической науки. Столь же поразителен тот факт, что мне, которому сейчас только 67 лет, пришлось слышать, как профессор Джемсон, читая нам лекцию на Солсберийских скалах, говорил, что траповая дайка с миндалеобразными границами и отвердевшими со всех сторон пластами, расположенная в местности, где нас буквально окружали вулканические породы, представляет собою трещину, заполненную сверху осадочными отложениями; при этом он с усмешкой добавлял, что были де люди, которые утверждали, что она была заполнена снизу расплавленной массой. Вспоминая об этой лекции, я не удивляюсь своему решению никогда не заниматься геологией.

Благодаря посещению лекций Джемсона я познакомился с хранителем музея м-ром Макджилливрсем, который впоследствии опубликовал большую и превосходную книгу о птицах Шотландии. В его внешности и манерах было не очень-то много джентльменского. У нас было с ним много интересных бесед на естественноисторические темы; он был со мною очень добр и подарил мне несколько редких раковин, так как я собирал в то время коллекцию морских улиток, хотя занимался этим не очень усердно.

В течение этих двух лет мои летние каникулы были целиком посвящены развлечениям, хотя в руках у меня всегда была какая-нибудь книга, которую я с интересом читал. Летом 1826 г. я совершил, вместе с двумя своими приятелями, большую пешеходную прогулку (с рюкзаками за спиной) по Северному Уэльсу. Почти ежедневно мы проходили по тридцати миль, а один день потратили на восхождение

на Сноудон. Я совершил также со своей сестрой Каролиной прогулку верхом на лошадях по Северному Уэльсу; седельные вьюки с нашим платьем вез за нами слуга. Осенние месяцы посвящались ружейной охоте - главным образом у м-ра Оуэна в Вудхаусе и у моего дяди Джоса в Мэре. Я проявлял [в отношении охоты] столь большое рвение, что, ложась спать, я ставил обычно свои охотничьи сапоги около самой кровати, чтобы, обуваясь утром, не потерять и полминуты. Однажды, 20 августа, собравшись на охоту за тетеревами, я еще затемно забрался на самую окраину территории Мэра и затем целый день пробирался с лесником сквозь гущу вереска и молодых сосен.

Я аккуратно записывал каждую птицу, застреленную мною в течение сезона. Как-то раз, охотясь в Вудхаусе с капитаном Оуэном, старшим сыном хозяина, и с его двоюродным братом майором Хиллом, впоследствии лордом Берик, которых я очень любил, я стал жертвой шутки: каждый раз, когда я, выстрелив, думал, что это я застрелил птицу, один из них делал вид, что заряжает ружье, и восклицал: «Эту птицу не принимайте в расчет, я стрелял одновременно с вами!» Слова их подтверждал лесник, который понял, в чем заключалась шутка. Через несколько часов они рассказали мне, как они подшутили надо мной, но для меня это не было шуткой, потому что я застрелил очень много птиц, но не знал, сколько именно, и не мог внести их в свой список, что я обычно делал, завязывая узелок на куске веревки, продетой сквозь пуговичную петлю. Это-то и заметили мои коварные друзья.

Какую радость доставляла мне охота! Но мне кажется, что я полусознательно стыдился своей страсти, так как старался убедить себя в том, что охота - своего рода умственное занятие: ведь она требует столько сноровки для того, чтобы судить, где больше всего найдешь дичи, и чтобы как следует натаскать собак.

Одно из моих осенних посещений Мэра в 1827 г. памятно мне потому, что я встретил там сэра Дж. Макинтоша, который был наилучшим собеседником, какого мне приходилось когда-либо встречать. Узнав впоследствии, что он сказал обо мне: «В этом молодом человеке есть что-то такое, что заинтересовало меня», я сиял от гордости. Этим отзывом я обязан, должно быть, главным образом тому, что он заметил, с каким огромным интересом я вслушиваюсь буквально в каждое его слово, - а я был невежественен, как поросенок, в тех вопросах истории, политики и морали, которых он касался. Думаю, что похвала со стороны выдающегося человека - хотя может возбудить и даже несомненно возбуждает тщеславие - полезна для молодого человека, так как помогает ему держаться правильного пути.

Мои посещения Мэра на протяжении этих двух или трех следовавших друг за другом лет были полны очарования даже независимо от осенней охоты. Жилось там очень привольно, местность позволяла совершать восхитительнейшие прогулки пешком или верхом, вечера проходили в исключительно приятных беседах, не носивших слишком личного характера, как это бывает обычно на больших семейных встречах, и перемежавшихся музыкой. Летом вся семья часто располагалась на ступенях старинного портика, перед которым в саду был разбит цветник; противоположный дому крутой, покрытый лесом берег отражался в озере, и то в одном, то в другом месте слышался всплеск воды, вызванный всплывшей вверх рыбой или коснувшейся поверхности воды птицей. Ничто не запечатлелось в моей памяти более ярко, чем эти вечера в Мэре. Я был очень привязан к дяде Джосу и благоговел перед ним; он был молчалив и сдержан, таких людей обычно побаиваются, но иногда он бывал со мною откровенен. Это был выраженный тип прямого человека, обладавшего способностью чрезвычайно ясного суждения. Думаю, что никакая сила в мире не могла бы заставить его хотя бы на дюйм отклониться от того пути, который он считал правильным. Мысленно я не раз применял к нему известную оду Горация - теперь я уже забыл ее, - в которой имеются слова: «*neс vultus tyranni*» и т.д.

Кембридж

Кембридж, 1828-1831. - После того как я провел два учебных года в Эдинбурге, мой отец понял или узнал от моих сестер, что мне вовсе не улыбается мысль стать врачом, и поэтому предложил мне сделаться священником. Возможность моего превращения в праздного любителя спорта - а такая моя будущность казалась тогда вероятной - совершенно справедливо приводила его в страшное негодование. Я попросил дать мне некоторое время на размышление, потому что на основании тех немногих сведений и мыслей, которые были у меня на этот счет, я не мог без колебаний заявить, что верю во все догматы англиканской церкви; впрочем, в других отношениях мысль стать сельским священником нравилась мне. Я старательно прочитал поэтому книгу «Пирсон о вероучении» [«Pearson on the Creed»] и несколько других богословских книг, а так как у меня не было в то время ни малейшего сомнения в точной и буквальной истинности каждого слова Библии, то я скоро убедил себя в том, что наше вероучение необходимо считать полностью приемлемым. Меня совершенно не поражало, насколько нелогично говорить, что я верю в то, чего я не могу понять и что фактически [вообще] не поддается пониманию. Я мог бы с полной правдивостью сказать, что у меня не было никакого желания оспаривать ту или иную [религиозную] догму, но никогда не был я таким дураком, чтобы чувствовать или говорить: «Credo quia incredibile».

Если вспомнить, как свирепо нападали на меня представители церкви, кажется забавным, что когда-то я и сам имел намерение стать священником. Мне не пришлось даже заявить когда-либо формальный отказ от этого намерения и от выполнения желания моего отца: они умерли естественной смертью, когда я, закончив образование в Кембридже, принял участие в экспедиции на «Бигле» в качестве натуралиста. Если френологи заслуживают доверия, то в одном отношении я очень подходил для того, чтобы стать священником. Несколько лет назад я получил письмо от секретарей одного германского психологического общества, в котором они убедительно просили меня прислать им мою фотографию, а спустя некоторое время я получил протокол заседания, на котором, по-видимому, предметом публичного обсуждения был форма моей головы, и один из выступавших заявил, что шишка благоговения развита у меня настолько сильно, что ее хватило бы на добрый десяток священников.

Поскольку было решено, что я стану священником, мне необходимо было поступить в один из английских университетов, чтобы получить ученую степень; но так как с того времени, как я оставил школу, я ни разу не раскрыл ни одной греческой или латинской книги, то, к своему ужасу, я обнаружил, что за два года, прошедшие с тех пор, я, как это ни покажется невероятным, совершенно забыл почти все, чему меня учили, даже некоторые греческие буквы. Я не отправился поэтому в Кембридж в обычное время, в октябре, а стал заниматься с частным преподавателем в Шрусбери и поехал в Кембридж после рождественских каникул, в самом начале 1828 г. Вскоре я восстановил свой школьный уровень знаний и сравнительно легко мог переводить нетрудные греческие книги, например, Гомера и Евангелие на греческом языке.

Три года, проведенные мною в Кембридже, были в отношении академических занятий настолько же полностью затрачены впустую, как годы, проведенные в Эдинбурге и в школе. Я пытался заняться математикой и даже отправился для этого в Бармут летом 1828 г. с частным преподавателем (очень тупым человеком), но занятия мои шли крайне вяло. Они вызвали у меня отвращение главным образом потому, что я не в состоянии был усмотреть какой-либо смысл в первых основаниях алгебры. Это отсутствие у меня терпения было очень глупым, и впоследствии я глубоко сожалел о том, что не продвинулся по крайней мере настолько, чтобы уметь

хотя бы немного разбираться в великих руководящих началах математики, ибо люди, овладевшие ею, кажутся мне наделенными каким-то добавочным орудием разума [«extra sense»]. Не думаю, впрочем, чтобы я когда-либо мог добиться успеха за пределами элементарной математики. Что касается греческих и латинских авторов, то здесь я ничего не делал, кроме того, что посещал, да и то почти номинально, некоторые обязательные университетские лекции. На втором году обучения мне пришлось месяц или два поработать, чтобы сдать Little-Go, что далось мне легко. Также и в последнем учебном году я довольно основательно подготовился к заключительному экзамену на степень бакалавра искусств, освежив в памяти своих греческих и латинских классиков и в небольшом размере алгебру и Эвклида; последний, как и когда-то в школе, доставил мне много удовольствия. Для сдачи экзамена на степень бакалавра искусств необходимо было также изучить сочинения Пейли «Основания христианства» [«Evidences of Christianity»] и «Нравственная философия» [«Moral Philosophy»]. Я проделал это самым тщательным образом и убежден, что мог бы по памяти полностью изложить «Основания» и притом очень точно, но, разумеется, не таким ясным языком, как у Пейли. Логика этой книги и, могу прибавить еще, его «Натуральной теологии» [«Natural Theology»] доставила мне такое же удовольствие, как Эвклид. Тщательное изучение этих трудов, без попытки заучить какой-либо раздел наизусть, было единственной частью академического курса, которая, как мне казалось тогда и как я убежден и теперь, была хоть сколько-нибудь полезна для воспитания моего ума. В то время предпосылки Пейли меня нисколько не интересовали, я принимал их на веру, очарованный и убежденный длинной цепью доказательств. Неплохо ответив на экзаменационные вопросы из Пейли, хорошо сдав Эвклида и не очень оскандалившись по части греческих и латинских авторов, я добился хорошего места среди *oll*, т. е. того множества людей, которые не гонятся за почестями. Хотя это и достаточно странно, но я не могу вспомнить, насколько высокое место заняла в списке моя фамилия: меня разбирают сомнения - пятое, десятое или двенадцатое.

В Университете читались по различным отраслям знания публичные лекции, посещение которых было вполне добровольным, но мне уже так осточертели лекции в Эдинбурге, что я не ходил даже на красноречивые и интересные лекции Седжвика. Если бы я посещал их, то стал бы, вероятно, геологом раньше, чем это случилось в действительности. Я посещал, однако, лекции Генсло по ботанике, и они очень нравились мне, так как отличались исключительной ясностью изложения и превосходными демонстрациями; но ботанику я не изучал. Генсло имел обыкновение совершать со своими учениками, в том числе и с более старыми членами Университета, полевые экскурсии, - пешком, в отдаленные места - в каретах и вниз по реке - на баркасе, - и во время этих экскурсий читал лекции о более редких растениях и животных, которых удавалось наблюдать. Экскурсии эти были восхитительны.

Хотя, как мы сейчас увидим, в моей кембриджской жизни были и некоторые светлые стороны, время, которое я провел в Кембридже, было всерьез потеряно, и даже хуже, чем потеряно. Моя страсть к ружейной стрельбе и охоте, а если это не удавалось осуществить, то - к прогулкам верхом по окрестностям, привела меня в кружок любителей спорта, среди которых было несколько молодых людей не очень высокой нравственности. По вечерам мы часто вместе обедали, хотя, надо сказать, на этих обедах нередко бывали люди более дельные; по временам мы порядочно выпивали, а затем весело пели и играли в карты. Знаю, что я должен стыдиться дней и вечеров, растраченных подобным образом, но некоторые из моих друзей были такие милые люди, а настроение наше бывало таким веселым, что не могу не вспоминать об этих временах с чувством большого удовольствия.

Но мне приятно вспоминать, что у меня было много и других друзей, совершенно

иного рода. Я был в большой дружбе с Уитли, который впоследствии стал лауреатом Кембриджского университета по математике, мы постоянно совершали с ним долгие прогулки. Он привил мне вкус к картинам и хорошим гравюрам, и я приобрел несколько экземпляров. Я часто бывал в Галерее Фицуильяма, и у меня, видимо, был довольно хороший вкус, ибо я восхищался несомненно лучшими картинами и обсуждал их со старым хранителем Галереи. С большим интересом прочитал я также книгу сэра Джошуи Рейнольдса. Вкус этот, хотя и не был прирожденным, сохранялся у меня на протяжении нескольких лет, и многие картины в Национальной галерее в Лондоне доставляли мне истинное наслаждение, а одна картина Себастьяна дель Пьомбо возбудила во мне чувствовеличественного.

Я бывал также в музыкальном кружке, кажется, благодаря моему сердечному другу Герберту, окончившему Университет с высшим отличием по математике. Общаясь с этими людьми и слушая их игру, я приобрел определенно выраженный вкус к музыке и стал весьма часто распределять свои прогулки так, чтобы слушать в будние дни хоралы в церкви Колледжа короля [King's College]. Я испытывал при этом такое интенсивное наслаждение, что по временам у меня пробегала дрожь по спинному хребту. Я уверен, что в этом моем чувстве не было ни аффектации, ни простого подражания, ибо обычно я ходил в Колледж короля совершенно один, иногда же я нанимал мальчиков-хористов, и они пели у меня в комнате. Тем не менее я до такой степени лишен музыкального слуха, что не замечаю диссонанса, не могу правильно отбивать такт и не в состоянии верно напеть про себя хоть какую-нибудь мелодию, и для меня остается тайной, каким образом я мог получать удовольствие от музыки.

Мои музыкальные друзья вскоре подметили во мне эту особенность и по временам забавлялись, устраивая мне экзамен, для того чтобы установить, сколько мелодий смогу я узнать, если их исполняли несколько быстрее или медленнее, чем следовало. Гимн «Боже, храни короля», сыгранный таким образом, становился для меня мучительной загадкой. Был там еще один обладатель почти такого же плохого слуха, как у меня, но, как это ни странно, он немного играл на флейте. Однажды на мою долю выпал триумф: на одном из наших музыкальных экзаменов я одержал над ним верх.

Но ни одному занятию не предавался я в Кембридже даже приблизительно с такой огромной страстью, ничто не доставляло мне такого удовольствия, как коллекционирование жуков. Это была именно одна лишь страсть к коллекционированию, так как я не анатомировал их, редко сверял их внешние признаки с опубликованными описаниями, а названия их устанавливал как попало. Приведу доказательство моего рвения в этом деле. Однажды, сдирая с дерева кусок старой коры, я увидел двух редких жуков и схватил каждой рукой по одному из них, но тут я увидел третьего, какого-то нового рода, которого я никак не в состоянии был упустить, и я сунул того жука, которого держал в правой руке, в рот. Увы! Он выпустил какую-то чрезвычайно едкую жидкость, которая так обожгла мне язык, что я вынужден был выплюнуть жука, и я потерял его, так же как и третьего.

Коллекционирование шло у меня очень успешно, причем я изобрел два новых способа [собиранья жуков]: я нанял работника, которому поручил соскребывать в течение зимы мох со старых деревьев и складывать его в большой мешок, а также собирать мусор со дна барок, на которых привозят с болот тростник; таким образом я приобрел несколько очень редких видов. Никогда ни один поэт не испытывал при виде первого своего напечатанного стихотворения большего восторга, чем я, когда я увидел в книге Стивенса «Illustrations of British Insects» [«Изображения британских насекомых»] магические слова: «Пойман Ч. Дарвином, эсквайром». С энтомологией меня познакомил мой троюродный брат У. Дарвин-Фокс, способный и чрезвычайно приятный человек: он учился тогда в Колледже Христа [Christ's College], и мы с ним

очень близко подружился. Позднее я близко познакомился с Олбертом Уэем из Колледжа троицы [Trinity College], вместе с которым мы ходили собирать насекомых; спустя много лет он стал известным археологом; сблизился я также с Г. Томпсоном [H. Thompson] из того же Колледжа, впоследствии ставшим выдающимся агрономом, управляющим большой железной дорогой и членом парламента. Отсюда, по-видимому, следует, что страсть к собиранию жуков служит некоторого рода указанием на будущий успех в жизни!

Удивительно, какое неизгладимое впечатление оставили во мне многие жуки, пойманные мною в Кембридже. Я могу восстановить в памяти точный вид некоторых столбов, старых деревьев и береговых обрывов, где мне удалось сделать удачные находки. Изящный *Papa-gaeus crux-major* был в те времена настоящим сокровищем; как-то здесь, в Дауне, я увидел жука, перебежавшего через дорожку, и, поймав его, сразу заметил, что он незначительно отличается от *P. crux-major*; оказалось, что это *P. quadripunctatus*, представляющий собою лишь разновидность *P. crux-major* или близко родственный ему вид, незначительно отличающийся от него по своим очертаниям. В те давние времена мне ни разу не пришлось увидеть живого *Licinus*, который для неопытного глаза кажется почти ничем не отличающимся от многих других черных *Carabidae*, но когда мои сыновья нашли здесь экземпляр *Licinus*, я сразу же заметил, что это новый для меня вид, а между тем вот уже двадцать лет, как я ни разу не взглянул ни на одного британского жука.

Я не упомянул до сих пор об одном обстоятельстве, которое повлияло на всю мою карьеру больше, чем что-либо другое. Речь идет о моей дружбе с профессором Генсло. Еще до того, как я оказался в Кембридже, мой брат говорил мне о нем, как о человеке, сведущем во всех областях науки, и я был таким образом подготовлен к тому, чтобы отнестись к нему с благоговением. Раз в неделю, по вечерам, он устраивал у себя дома открытый прием для всех студентов последнего курса и некоторых более старых членов Университета, интересовавшихся естествознанием. Вскоре я получил через Фокса приглашение к Генсло и стал регулярно бывать у него. Через короткое время я тесно сблизился с Генсло и во вторую половину своего пребывания в Кембридже почти ежедневно совершал с ним длительные прогулки, вследствие чего некоторые члены Колледжа называли меня «Тот, который гуляет с Генсло»; по вечерам он часто приглашал меня на обед к себе домой. Он обладал обширными познаниями в ботанике, энтомологии, химии, минералогии и геологии. У него была сильно выраженная склонность строить заключения на основании длинного ряда мелких наблюдений. Суждения его были блестящи, а ум отличался замечательной уравновешенностью, но, мне кажется, едва ли кто-нибудь стал бы утверждать, что он был в большой мере наделен даром оригинального творчества.

Он был глубоко религиозен и до такой степени ортодоксален, что, как он однажды заявил мне, он был бы страшно расстроен, если бы в Тридцати девяти догматах было изменено хотя бы одно слово. Нравственные качества его были во всех отношениях изумительно высоки. Он был совершенно лишен даже какого бы то ни было оттенка тщеславия или другого мелкого чувства; никогда не видал я человека, который так мало думал бы о себе и своих личных интересах. Он был человек спокойного и доброго нрава, обаятелен и вежлив в обращении, и тем не менее, как мне самому приходилось видеть, какой-либо дурной поступок мог вызвать у него самое бурное негодование и решительные действия. Проходя с жим однажды по улицам Кембриджа, я увидел сцену почти столь же ужасную, как те, какие бывали во времена Французской революции. Двух похитителей трупов арестовали и вели в тюрьму, как вдруг толпа хулиганов отбила их у полицейского и поволокла за ноги по грязной булыжной мостовой. Они были с головы до ног покрыты грязью, а лица их были окровавлены - оттого ли, что их пинали по лицу ногами, или от ударов о камни; они были похожи на мертвецов,- правда, толпа вокруг них была так густа, что я мог

только несколько раз мельком взглянуть на этих несчастных людей. Никогда в жизни не видел я на человеческом лице выражения такого страшного возмущения, какое было на лице Генсло при виде этой ужасной сцены. Несколько раз он пытался пробиться сквозь толпу, но это было совершенно невозможно. Тогда он помчался к мэру, сказав мне, чтобы я не следовал за ним, а нашел бы еще нескольких полицейских. Я забыл уже, чего мы добились, помню только, что обоих доставили в тюрьму прежде, чем их успели убить.

Благотворительность Генсло была безгранична; он доказал это множеством прекрасных начинаний в пользу бедняков своего прихода, когда впоследствии стал священником в Хитчеме. Близость с таким человеком должна была принести и, я думаю, действительно принесла мне неоценимую пользу. Не могу не упомянуть об одном незначительном случае, показывающем его мягкость и внимание к людям. Рассматривая зерна пыльцы, положенные на влажную поверхность, я заметил, что некоторые из них выпустили трубки, и тотчас же помчался сообщить Генсло о своем удивительном открытии. Полагаю, что любой другой профессор ботаники не удержался бы от смеха, если бы я явился с такой поспешностью, чтобы сделать подобное сообщение. Он же согласился со мною, что явление это очень интересно, и объяснил мне его значение, дав мне ясно понять при этом, что оно хорошо известно; в результате я ушел от него ни в какой мере не уязвленный, а, наоборот, весьма довольный тем, что мне удалось самому открыть столь замечательный факт, однако я решил больше не спешить так с сообщениями о своих открытиях.

Среди известных и уже немолодых людей, посещавших иногда Генсло, был д-р Юэлл, с которым мне пришлось несколько раз возвращаться вместе ночью домой. Как и сэр Дж. Макинтош, Юэлл умел разговаривать о серьезных предметах лучше всех, кого мне когда-либо приходилось слышать. Часто гостил у Генсло его шурин Леонард Дженинс (внук прославленного Соума Дженинса), опубликовавший впоследствии несколько хороших работ по естественной истории. Сначала он не нравился мне из-за своего несколько мрачного и саркастического выражения лица; редко бывает, чтобы первое впечатление исчезло, но я полностью ошибся, обнаружив, что это очень мягкосердечный и приятный человек с немалой дозой юмора. Я бывал у него в его доме приходского священника, находившемся на самой границе Фенов, и совершил с ним немало славных прогулок и провел немало интересных бесед по вопросам естественной истории. Познакомился я также с некоторыми другими людьми, старшими меня по возрасту, которые не очень интересовались естествознанием, но были друзьями Генсло. Был среди них один шотландец, брат сэра Александра Рамси, состоявший наставником в Колледже Иисуса [Jesus College]; это был обаятельный человек, но прожил он недолго. Другой был м-р Дос [Dawes], впоследствии состоявший деканом [настоятелем собора] в Херефорде; он прославился своими успехами в обучении бедняков. Эти люди и другие того же круга устраивали иногда вместе с Генсло далекие экскурсии по окрестностям; мне разрешалось принимать участие в этих экскурсиях, которые были в высшей степени приятны.

Вспоминая прошлое, я прихожу к заключению, что, должно быть, было во мне что-то несколько возвышавшее меня над общим уровнем молодежи, иначе все эти люди, которые были намного старше меня и по возрасту и по академическому положению, вряд ли пожелали бы встречаться со мною. Разумеется, я не сознавал за собою какого-либо превосходства; помню, один из моих друзей по спорту, Тернер, увидев, как я вожусь со своими жуками, сказал, что когда-нибудь я стану членом Королевского общества, но это его замечание показалось мне абсурдным.

В последний год моего пребывания в Кембридже я с большим вниманием и глубоким интересом прочитал «Personal Narrative» [«Личное повествование»] Гумбольдта. Это сочинение и «Introduction to the Study of Natural

Phylosophy» [«Введение в изучение естествознания»] сэра Дж. Гершеля пробудили во мне пылкое стремление внести хотя бы самый скромный вклад в благородное здание наук о природе. Ни одна другая книга, ни даже целая дюжина их не произвели на меня даже и приблизительно такого сильного впечатления, как эти две книги. Я выписал из Гумбольдта длинные выдержки о Тенерифе и на одной из упомянутых выше экскурсий прочитал их вслух, если не ошибаюсь, Генсло, Рамси и Досу, так как на одной из предыдущих экскурсий я рассказывал о красотах Тенерифа и некоторые из участников экскурсии заявили, что они попытаются съездить туда. Думаю, что они говорили это полущутя, но мои намерения были совершенно серьезны, и я даже получил рекомендацию к одному лондонскому купцу, чтобы раздобыть у него справки относительно кораблей; но этот замысел, разумеется, совершенно отпал из-за моего путешествия «Бигле».

Летние каникулы я посвящал коллекционированию жуков, чтению и непродолжительным экскурсиям. Осенью все мое время отдавалось охоте главным образом в Вудхаусе и Мэре, иногда же я охотился в Эйтоне с молодым Эйтоном. В целом, три года, проведенные мною в Кембридже, были самыми радостными годами в моей счастливой жизни: здоровье мое было тогда превосходным и почти всегда я пребывал в самом лучшем расположении духа.

Так как впервые я приехал в Кембридж после рождества, то мне надлежало пробыть там еще два семестра после того, как я в начале 1831 г. сдал свой последний экзамен, и тогда Генсло убедил меня приступить к изучению геологии. Поэтому по возвращении в Шропшир я занялся изучением [геологических] разрезов окрестностей Шрусбери и составил раскрашенную карту их. Профессор Седжвик имел намерение посетить в начале августа Северный Уэльс, чтобы продолжить свои знаменитые геологические исследования древнейших горных пород, и Генсло просил Седжвика разрешить мне сопровождать его. Этим и объясняется, что Седжвик приехал к нам и переночевал в доме моего отца.

Краткая беседа с ним в тот вечер произвела на меня глубокое впечатление. Как-то, когда я исследовал старые разработки гравия близ Шрдобери, один рабочий рассказал мне, что он нашел здесь большую стертую тропическую раковину *Voluta*, вроде тех, какие нередко можно видеть в коттеджах на полках каминов, и так как он не соглашался продать эту раковину, я был убежден, что он действительно нашел ее в этой яме. Я рассказал об этом Седжвику, но он сразу же возразил мне (без всякого сомнения, справедливо), что раковина была, вероятно, выброшена кем-нибудь в яму, а затем добавил, что если бы она естественным образом залегала в этих пластах, то это явилось бы величайшим несчастьем для геологии, так как опрокинуло бы все наши представления о поверхностных отложениях в Центральных графствах. И действительно, эти пласты гравия относятся к ледниковому периоду, и впоследствии я находил в них изломанные раковины северных моллюсков. Но тогда я был крайне удивлен, когда увидел, что Седжвик не пришел в восхищение от такого чудесного факта, как находка тропической раковины близ самой поверхности земли в центре Англии. Хотя я прочитал уже много разных научных книг, ничто когда-либо раньше не дало мне возможности с такой отчетливостью понять, что наука заключается в такой группировке фактов, которая позволяет выводить на основании их общие законы или заключения.

На другое утро мы начали свое путешествие по маршруту Лланголлен, Конуэй, Бангор и Кэйпл-Кьюриг. Это путешествие принесло мне определенную пользу, научив меня в некоторой степени тому, каким образом можно разобраться в геологии той или иной страны. Седжвик часто посылал меня по направлению, параллельному тому, по которому шел сам, поручая мне собрать образцы горных пород и нанести на карту порядок их залегания. Я почти не сомневаюсь, что он делал это для моей пользы, так как я был слишком несведущ, чтобы мог оказать

помощь ему. Это путешествие дало мне разительный пример того, как легко проглядеть даже самые заметные явления, если на них уже не обратил внимание кто-нибудь другой. Мы провели много часов в Кумбран-Идуоле, самым тщательным образом исследуя все горные породы, так как Седжвику очень хотелось найти в них остатки ископаемых организмов; однако ни один из нас не заметил следов замечательных ледниковых явлений, окружавших нас со всех сторон: мы не заметили ни отчетливых шрамов на скалах, ни нагромождений валунов, ни боковых и конечной морен. Между тем эти явления настолько очевидны, что как я заявлял в одной статье, напечатанной много лет спустя в «Philosophical Magazine», дом, сгоревший во время пожара, не расскажет о том, что с ним произошло, более ясно, чем эта долина. Если бы она все еще была заполнена ледником, эти явления были бы выражены менее отчетливо, чем теперь.

В Кэйпл-Кьюриге я расстался с Седжвиком и направился по прямой линии через горы в Бармут, определяя курс по компасу и карте и не пользуясь тропинками, если они не совпадали со взятым мною направлением. Я побывал благодаря этому в неведомых, диких местах и получил большое удовольствие от такого способа путешествовать. Бармут я посетил с целью повидать некоторых своих кембриджских друзей, которые занимались там преподаванием; оттуда я вернулся в Шрусбери и Мэр, чтобы приступить к охоте, ибо в те времена я считал себя сумасшедшим, если бы пропустил первые дни охоты на куропаток ради геологии или какой-нибудь другой науки.

Путешествие на Бигле

Путешествие на «Бигле» с 27 декабря 1831 г. по 2 октября 1836 г. - Вернувшись домой после моей непродолжительной геологической поездки по Северному Уэльсу, я нашел письмо от Генсло, извещавшее меня, что капитан Фиц-Рой готов уступить часть своей собственной каюты какому-нибудь молодому человеку, который согласился бы добровольно и без всякого вознаграждения отправиться с ним в путешествие на «Бигле» в качестве натуралиста. В моем рукописном «Дневнике» я, как мне кажется, рассказал обо всех событиях, происшедших в то дни: здесь скажу только, что я готов был тут же принять предложение, но мой отец решительно возражал против этого, добавив, впрочем, слова, оказавшиеся счастливыми для меня: «Если ты сумеешь найти хоть одного здравомыслящего человека, который посоветует тебе ехать, я дам свое согласие». Однако я в тот же вечер написал о своем отказе принять предложение, а на другое утро поехал в Мэр, чтобы быть готовым 1-го сентября [начать охоту]. Я был на охоте, когда за мной прислал мой дядя: он предложил мне поехать с ним в Шрусбери, чтобы переговорить с моим отцом, так как считал, что я поступил бы благоразумно, приняв предложение. Отец всегда утверждал, что дядя - один из самых благоразумных людей на свете, и поэтому сразу дал свое согласие в самой ласковой форме. В Кембридже я был довольно неумерен в расходах, и чтобы утешить отца, я сказал, что «должен был бы быть чертовски способным, чтобы, находясь на борту «Бигля», тратить больше, чем я буду получать», на что отец возразил, улыбаясь: «Да ведь все они и говорят, что ты очень способен!»

На следующий день я отправился в Кембридж, чтобы повидать Генсло, а оттуда - в Лондон, чтобы встретиться с Фиц-Роем, и вскоре все было улажено. Когда впоследствии мы сблизились с Фиц-Роем, он рассказал мне, что я очень серьезно рисковал быть отвергнутым из-за формы моего носа! Горячий последователь Лафатера, он был убежден, что может судить о характере человека по чертам его лица, и сомневался в том, чтобы человек с таким носом, как у меня, мог обладать энергией и решимостью достаточными для того, чтобы совершить путешествие.

Думаю, однако, что впоследствии он вполне убедился в том, что мой нос ввел его в заблуждение.

У Фиц-Роя был очень своеобразный характер. Он обладал многими благородными чертами: был верен своему долгу, чрезвычайно великодушен, смел, решителен, обладал неукротимой энергией и был искренним другом всех, кто находился под его началом. Он не останавливался ни перед какими хлопотами, чтобы помочь тому, кто, по его мнению, был достоин помощи. Это был статный, красивый человек, вполне выдержанный тип джентльмена, изысканно вежливый в обращении, напоминавший своими манерами, как говорил мне посол в Рио, своего дядю со стороны матери - знаменитого лорда Каслри. Вместе с тем, он, должно быть, много унаследовал в своей внешности от Карла II, - д-р Уоллич подарил мне коллекцию изготовленных им фотографий, и я был поражен сходством одного портрета с Фиц-Роем; посмотрев на подпись, я увидел, что это Ч. Э. Собесский Стюарт, граф д'Олбени, который был незаконным потомком названного монарха.

Нрав у Фиц-Роя был самый несносный, и это проявлялось не только во вспышках гнева, но и в продолжительных приступах брюзгливости по отношению к тем, кто его обидел. Обычно он бывал особенно невыносим по утрам: своими орлиными глазами он всегда замечал какое-нибудь упущение на корабле, и тогда он не сдерживал гнева. Утром, сменяя друг друга, младшие офицеры обычно спрашивали: «Много ли чашек горячего кофе было выпито [капитаном] сегодня», что значило - в каком настроении капитан? Он был также несколько подозрителен и то и дело пребывал в дурном настроении, а однажды почти впал в безумие. Мне часто казалось, что ему не хватает трезвости в суждениях и здравого смысла. Ко мне он относился очень хорошо, но ужиться с этим человеком при той близости, которая была неизбежна для нас, обедавших за одним столом вдвоем с ним в его каюте, было трудно. Несколько раз мы ссорились, ибо, впадая в раздражение, он совершенно терял способность рассуждать. Так, в самом начале путешествия, когда мы были в Баие в Бразилии, он стал защищать и расхваливать рабство, к которому я испытывал отвращение, и сообщил мне, что он только что побывал у одного крупного рабовладельца, который созвал [при нем] своих рабов и спросил их, счастливы ли они и хотят ли получить свободу, на что все они ответили: «Нет!» Тогда я спросил его, должно быть не без издевки, полагает ли он, что ответ рабов, данный в присутствии их хозяина, чего-нибудь стоит? Это страшно разозлило его, и он сказал мне, что раз я не доверяю его словам, мы не можем больше жить вместе. Я думал, что вынужден буду покинуть корабль, но как только известие о нашей ссоре распространилось, - а распространилось оно быстро, так как капитан послал за своим первым помощником, чтобы в его присутствии излить свой гнев, всячески ругая меня, - я, к величайшему своему удовлетворению, получил приглашение от всех офицеров обедать с ними в их кают-компаний. Однако через несколько часов Фиц-Рой проявил обычное свое великодушие, послав ко мне офицера, который передал мне его извинения и просьбу по-прежнему обедать с ним. Вспоминаю и другой случай, характеризующий его искренность. В Плимуте, до того как мы отправились в плавание, он страшно разозлился на торговца посудой, который отказался обменять некоторые предметы, купленные у него в лавке. Тогда капитан спросил у него цену одного очень дорогого фарфорового сервиза и сказал: «Я приобрел бы его, если бы вы не были так нелюбезны». Так как я знал, что в каюте [капитана] имеется обильный запас посуды, я усомнился в том, чтобы у него действительно было такое намерение; я не произнес ни слова, но, должно быть, мое сомнение отразилось у меня на лице. Когда мы вышли из лавки, он взглянул на меня и сказал: «Вы не поверили моим словам!»; я вынужден был признать, что это так. Несколько минут он молчал, а затем сказал: «Вы правы, из-за моего гнева на этого подлеца я поступил неправильно».

В Консепсьоне, в Чили, бедный Фиц-Рой страшно переутомился и был в очень дурном настроении. Он горько жаловался мне, что должен устроить большой вечер для всех местных жителей. Я возразил, сказав, что при данных обстоятельствах нет необходимости делать это. Тогда он пришел в ярость и заявил, что я такого сорта человек, который примет любое одолжение и ничем за него не оплатит. Ни слова не произнеся, я встал, вышел из каюты и вернулся в Консепсьон, где жил тогда. Через несколько дней я вернулся на корабль и был принят капитаном с обычной сердечностью, так как к этому времени буря полностью миновала. Однако первый помощник сказал мне: «Чёрт вас поberi, Философ, лучше бы вы не ссорились со шкипером! В тот день, когда вы ушли с корабля, я смертельно устал (корабль находился в ремонте), а он заставил меня до полуночи шататься с ним по палубе и все время бранился по вашему адресу».

Трудность поддерживать хорошие отношения с капитаном военного корабля значительно возрастает из-за того, что ответить ему так, как вы ответили бы любому другому человеку, - значит почти оказаться мятежником, а также из-за того трепета, который испытывают перед ним (по крайней мере, испытывали в те времена, когда я плавал) все находящиеся на корабле. Помню один любопытный случай, который мне рассказали об экономе корабля «Эдвенчур», вместе с которым «Бигль» совершил свое первое плавание. В одном из магазинов в Рио-де-Жанейро этот эконоом закупал ром для команды корабля, как вдруг в магазин вошел какой-то маленький господин в штатском. Экономом обратился к нему: «Будьте добры, сэр, попробуйте этот ром и скажите мне свое мнение о нем». Господин выполнил то, о чем его просили, и вскоре вышел из магазина. Тогда хозяин магазина спросил эконома, знает ли тот, что он обратился к капитану линейного корабля, только что вошедшего в гавань? Бедный эконоом онемел от ужаса, стакан с ромом упал из его рук на пол, он тотчас же отправился па свой корабль, и никакие доводы, как уверял меня офицер с «Эдвенчюра», не могли заставить его сойти на берег, так как он опасался встретиться с капитаном после своего ужасного по фамильярности поступка.

По возвращении на родину я лишь изредка встречался с Фиц-Роем, ибо всегда боялся как-нибудь неумышленно вызвать его раздражение, и все же это случилось однажды, причем взаимное примирение стало уже почти невозможным. Впоследствии он негодовал на меня за то, что я издал столь кощунственную книгу (он стал очень религиозным), как «Происхождение видов». К концу своей жизни он, кажется, совершенно разорился, что произошло в значительной степени из-за его щедрости. Во всяком случае, после его смерти была устроена подписка для уплаты его долгов. Конец его жизни был мрачен - он покончил самоубийством, точно так же как его дядя, лорд Каспри, на которого он так походил манерами и внешностью. Во многих отношениях это был человек самого благородного характера, человек, какого мне редко случалось встречать, однако характер его портили и серьезные недостатки.

Путешествие на «Бигле» было самым значительным событием моей жизни, определившим весь мой дальнейший жизненный путь, а между тем судьба его зависела от столь малого обстоятельства, как предложение моего дяди доставить меня за тридцать миль в Шрусбери, - не всякий дядя поступил бы так, - и от такого пустяка, как форма моего носа. Я всегда считал, что именно путешествию я обязан первым подлинным дисциплинированием, т. е. воспитанием, моего ума; я был поставлен в необходимость вплотную заняться несколькими разделами естественной истории, и благодаря этому мои способности к наблюдению усовершенствовались, хотя они уже и до того времени были неплохо развиты.

Особенно большое значение имело геологическое исследование всех посещенных мною районов, так как при этом приходилось пускаться в ход всю свою

способность к рассуждению. При первом ознакомлении с какой-либо новой местностью ничто не кажется более безнадежно запутанным, чем хаос горных пород; но если отмечать залегание и характер горных пород и ископаемых во многих точках, все время при этом размышляя [над собранными данными] и стараясь предугадать, что может быть обнаружено в различных других точках, то вскоре хаос местности начинает проясняться и строение целого становится более или менее понятным. Я взял с собою первый том «Principles of Geology» [«Основ геологии»] Ляйелля и внимательно изучил эту книгу, которая принесла мне величайшую пользу во многих отношениях. Уже самое первое исследование, произведенное мною в Сант-Яго на островах Зеленого мыса, ясно показало мне изумительное превосходство метода, примененного Ляйеллем в трактовке геологии, по сравнению с методами всех других авторов, работы которых я взял с собою или прочитал когда-либо в последствии.

Другим моим занятием было коллекционирование животных всех классов, краткое описание их и грубое анатомирование многих морских животных; однако из-за моего неумения рисовать и отсутствия у меня достаточных знаний по анатомии значительная доля рукописных заметок, сделанных мною во время путешествия, оказалась почти бесполезной. Я потерял вследствие этого много времени, не пропало зря только то время, которое я затратил на приобретение некоторых знаний о ракообразных, ибо знания эти оказали мне помощь, когда в последующие годы я предпринял составление монографии об усоногих раках.

Некоторую часть дня я посвящал составлению моего «Дневника», затрачивая при этом много усилий на то, чтобы точно и живо описать все, что мне пришлось увидеть, - упражнение, оказавшееся полезным. Мой «Дневник» частично был также использован мною в виде писем к родным, и отдельные части его я отсылал в Англию как только для этого представлялся удобный случай.

Однако различные специальные занятия, перечисленные выше, не имели почти никакого значения по сравнению с приобретенной мною в то время привычкой к энергичному труду и сосредоточенному вниманию в отношении любого дела, которым я бывал занят. Все, о чем я размышлял или читал, было непосредственно связано с тем, что я видел или ожидал увидеть, и такой режим умственной работы продолжался в течение всех пяти лет путешествия. Я уверен, что именно приобретенные таким образом навыки позволили мне осуществить все то, что мне удалось сделать в науке.

Оглядываясь на прошлое, я замечаю теперь, что постепенно любовь к науке возобладала во мне над всеми остальными склонностями. Первые два года старая страсть к охоте сохранялась во мне почти во всей своей силе, и я сам охотился на всех птиц и зверей, необходимых для моей коллекции, но понемногу я стал все чаще и чаще передавать ружье своему слуге и наконец вовсе отдал его ему, так как охота мешала моей работе, в особенности - изучению геологического строения местности. Я обнаружил, правда, бессознательно и постепенно, что удовольствие, доставляемое наблюдением и работой мысли, несравненно выше того, которое доставляют какое-либо техническое умение или спорт. Первобытные инстинкты дикаря постепенно уступали во мне место приобретенным вкусам цивилизованного человека. Тот факт, что мой ум развился под влиянием моих занятий во время путешествия, представляется мне вероятным на основании одного замечания, сделанного моим отцом, который был самым проницательным наблюдателем, какого мне когда-либо приходилось видеть, отличался скептицизмом и был далек от того, чтобы хоть сколько-нибудь верить в френологию; и вот, впервые увидев меня после путешествия, он обернулся к моим сестрам воскликнул: «Да ведь у него совершенно изменилась форма головы!»

Возвращаясь к путешествию. 11 сентября (1831 г.) я побывал вместе с Фиц-Роем

в Плимуте, где мы мельком осмотрели «Бигль». Оттуда я отправился в Шрусбери, чтобы надолго попрощаться с отцом и сестрами. 24 октября я поселился в Плимуте и прожил там до 27 декабря, когда «Бигль» покинул, наконец, берега Англии и отправился в свое кругосветное плавание. Еще до этого дня мы дважды пытались выйти в море, но оба раза сильные штормовые ветры вынуждали нас вернуться. Как ни старался я превозмочь себя, эти два месяца в Плимуте были самыми несчастными в моей жизни. При мысли о предстоящей мне столь длительной разлуке со всеми родными и друзьями я падал духом, а погода навевала на меня невыразимую тоску. Помимо того, меня беспокоили сердцебиение и боль в области сердца, и, как это часто бывает с молодыми несведущими людьми, особенно с теми, которые обладают поверхностными медицинскими знаниями, я был убежден, что страдаю сердечной болезнью. Я не стал советоваться с врачами, так как несколько не сомневался, что они признают меня недостаточно здоровым для участия в путешествии, а я решил поехать во что бы то ни стало.

Нет необходимости останавливаться здесь на отдельных событиях путешествия, рассказывать о том, где мы были и что делали, - достаточно полный отчет об этом дан в моем опубликованном «Дневнике». Ярче всего другого возникает и сейчас перед моим умственным взором великолепие тропической растительности. Но и то чувство величественного, которое я испытал при виде великих пустынь Патагонии и одетых лесом гор Огненной Земли, оставило в моей памяти неизгладимое впечатление. Вид нагого дикаря в обстановке его родной земли - зрелище, которое никогда не забудется. Многие мои поездки по диким странам верхом на лошади или в лодках, продолжавшиеся иногда по несколько недель, были полны интереса; лишения и известная степень опасности, с которыми они были сопряжены, в то время вряд ли воспринимались мною как помеха, а уж впоследствии и вовсе позабылись. С глубоким удовлетворением вспоминаю я также некоторые мои научные работы, например, разрешение проблемы коралловых островов и выяснение геологического строения некоторых островов, например, острова Св. Елены. Не могу также пройти мимо открытия мною своеобразных соотношений между животными и растениями, населяющими различные острова Галапагосского архипелага, с одной стороны, и между ними и обитателями Южной Америки - с другой.

Насколько я в состоянии сам судить о себе, я работал во время путешествия с величайшим напряжением моих сил просто оттого, что мне доставлял удовольствие процесс исследования, а также потому, что я страстно желал добавить несколько новых фактов к тому великому множеству их, которым владеет естествознание. Но кроме того у меня было и честолюбивое желание занять достойное место среди людей науки, - не берусь судить, был ли я честолюбив более или менее, чем большинство моих собратьев по науке.

Геология Сант-Яго весьма поразительна, хотя и проста: некогда поток лавы разлился по дну моря, покрытому мелко искрошенными современными раковинами и кораллами, которые [под действием горячей лавы] спеклись в твердую белую породу. В дальнейшем весь остров подвергся процессу поднятия. Но эта полоса белой породы открыла мне новый и важный факт, а именно, что впоследствии здесь происходило опускание пластов вокруг кратеров, которые продолжали с тех пор действовать и изливать лаву. Тогда мне впервые пришла в голову мысль, что я смогу, быть может, написать книгу о геологии различных стран, посещенных мною, - и сердце мое затрепетало от восторга. Это была незабываемая минута! С какой ясностью могу я восстановить в памяти невысокий лавовый утес, под которым я отдыхал тогда, ослепительно палящее солнце, несколько диких растений пустыни поблизости от меня, а у ног моих - живые кораллы в лужах, оставшихся после отлива. В несколько более поздний период нашего путешествия Фиц-Рой

попросил меня почитать ему мой «Дневник» и нашел, что его стоило бы опубликовать,- итак, это была уже вторая книга в перспективе!

К концу путешествия, когда мы были на острове Вознесения, я получил письмо от сестер, в котором они сообщали, что Седжвик посетил отца и сказал, что я займу место среди выдающихся людей науки. Тогда я не мог понять, каким образом ему удалось узнать что-либо о моих работах, однако я слышал (но кажется, позже), что Генсло доложил некоторые из моих писем к нему в Кембриджском философском обществе и отпечатал их для распространения среди ограниченного круга лиц. Моя коллекция костей ископаемых животных, которая была переслана мною Генсло, также вызвала большой интерес у палеонтологов. Прочитав это письмо, я начал вприпрыжку взбираться по горам острова Вознесения, и вулканические скалы громко зазвучали под ударами моего геологического молотка! Все это показывает, до чего я был честолобив, но я думаю, что не погрешу против истины, если скажу, что, хотя в позднейшие годы одобрение со стороны таких людей, как Ляйелл и Гукер, которые были моими друзьями, было для меня в высшей степени важным, мнение широкой публики не очень-то заботило меня. Не хочу этим сказать, что благоприятная рецензия или успешная продажа моих книг не доставляли мне большого удовольствия, но удовольствие это было мимолетным, и я уверен, что ради славы я никогда ни на один дюйм не отступил от принятого мною пути.

Религиозные взгляды

В течение этих двух лет мне пришлось много размышлять о религии. Во время плавания на «Бигле» я был вполне ортодоксален; вспоминаю, как некоторые офицеры (хотя и сами они были людьми ортодоксальными) от души смеялись надо мной, когда по какому-то вопросу морали я сослался на Библию как на непреложный авторитет. Полагаю, что их рассмешила новизна моей аргументации. Однако в течение этого периода [т. е. с октября 1836 г. до января 1839 г.] я постепенно пришел к сознанию того, что Ветхий завет с его до очевидности ложной историей мира, с его вавилонской башней, радугой в качестве знамени завета и пр. и пр., и с его приписыванием богу чувств мстительного тирана заслуживает доверия не в большей мере, чем священные книги индусов или верования какого-нибудь дикаря. В то время в моем уме то и дело возникал один вопрос, от которого я никак не мог отделаться: если бы бог пожелал сейчас ниспослать откровение индусам, то неужели он допустил бы, чтобы оно было связано с верой в Вишну, Сиву и пр., подобно тому как христианство связано с верой в Ветхий завет? Это представлялось мне совершенно невероятным.

Размышляя далее над тем, что потребовались бы самые ясные доказательства для того, чтобы заставить любого нормального человека поверить в чудеса, которыми подтверждается христианство; что чем больше мы познаём твердые законы природы, тем все более невероятными становятся для нас чудеса; что в те [отдаленные] времена люди были невежественны и легковжны до такой степени, которая почти непонятна для нас; что невозможно доказать, будто Евангелия были составлены в то самое время, когда происходили описываемые в них события; что они по-разному излагают многие важные подробности, слишком важные, как казалось мне, чтобы отнести эти расхождения на счет обычной неточности свидетелей,- в ходе этих и подобных им размышлений (которые я привожу не потому, что они сколько-нибудь оригинальны и ценны, а потому, что они оказали на меня влияние) я постепенно перестал верить в христианство как божественное откровение. Известное значение имел для меня и тот факт, что многие ложные религии распространились по обширным пространствам земли со сверхъестественной быстротой. Как бы прекрасна ни была мораль Нового завета,

вряд ли можно отрицать, что ее совершенство зависит отчасти от той интерпретации, которую мы ныне вкладываем в его метафоры и аллегории.

Но я отнюдь не был склонен отказаться от своей веры; я убежден в этом, ибо хорошо помню, как я все снова и снова возвращался к фантастическим мечтам об открытии в Помпеях или где-нибудь в другом месте старинной переписки между какими-нибудь выдающимися римлянами или рукописей, которые самым поразительным образом подтвердили бы все, что сказано в Евангелиях. Но даже и при полной свободе, которую я предоставил своему воображению, мне становилось все труднее и труднее придумать такое доказательство, которое в состоянии было бы убедить меня. Так понемногу закрадывалось в мою душу неверие, и в конце концов я стал совершенно неверующим. Но происходило это настолько медленно, что я не чувствовал никакого огорчения и никогда с тех пор даже на единую секунду не усомнился в правильности моего заключения. И в самом деле, вряд ли я в состоянии понять, каким образом кто бы то ни было мог бы желать, чтобы христианское учение оказалось истинным; ибо если оно таково, то незамысловатый текст [Евангелия] показывает, по-видимому, что люди неверующие - а в их число надо было бы включить моего отца, моего брата и почти всех моих лучших друзей - понесут вечное наказание. Отвратительное учение!

Хотя над вопросом о существовании бога как личности я стал много размышлять в значительно более поздний период моей жизни, приведу здесь те неопределенные заключения, к которым я с неизбежностью пришел. Старинное доказательство [существования бога] на основании наличия в Природе преднамеренного плана, как оно изложено у Пейли, доказательство, которое казалось мне столь убедительным в прежнее время, ныне, после того как был открыт закон естественного отбора, оказалось несостоятельным. Мы уже не можем больше утверждать, что, например, превосходно устроенный замок какого-нибудь двустворчатого моллюска должен был быть создан неким разумным существом, подобно тому как дверной замок создан человеком. По-видимому, в изменчивости живых существ и в действии естественного отбора не больше преднамеренного плана, чем в том направлении, по которому дует ветер. Все в природе является результатом твердых законов. Впрочем, я рассмотрел этот вопрос в конце моего сочинения об «Изменениях домашних животных и [культурных] растений», и, насколько мне известно, приведенные там доводы ни разу не встретили каких-либо возражений.

Но если и оставить в стороне те бесчисленные превосходные приспособления, с которыми мы встречаемся на каждом шагу, можно все же спросить: как объяснить благодетельное в целом устройство мира? Правда, некоторые писатели так сильно подавлены огромным количеством страдания в мире, что, учитывая все чувствующие существа, они выражают сомнение в том, чего в мире больше - страдания или счастья, и хорош ли мир в целом или плох. По моему мнению, счастье несомненно преобладает, хотя доказать это было бы очень трудно. Но если это заключение справедливо, то нужно признать, что оно находится в полном согласии с теми результатами, которых мы можем ожидать от действия естественного отбора. Если бы все особи какого-либо вида постоянно и в наивысшей степени испытывали страдания, то они забывали бы о продолжении своего рода; у нас нет, однако, никаких оснований думать, что это когда-либо или, по крайней мере, часто происходило. Более того, некоторые другие соображения заставляют полагать, что все чувствующие существа организованы так, что, как правило, они наслаждаются счастьем.

Каждый, кто, подобно мне, убежден, что у всех существ органы их телесной и психической жизни [corporeal and mental organs] (за исключением тех органов, которые ни полезны, ни вредны для их обладателя) развились путем естественного отбора, или переживания наиболее приспособленного (совместно с действием

упражнения или привычки),. должен будет признать, что эти органы сформировались так, что обладатели их могут успешно соревноваться с другими существами и благодаря этому возражать в числе. К выбору того вида действий, который наиболее благотворен для вида, животное могут побуждать как страдание, например - боль, голод, жажда и страх, так и удовольствие, например - еда и питье, а также процесс размножения вида и пр., либо же сочетание того и другого, например - отыскивание пищи. Но боль или любое другое страдание, если они продолжаются долго, вызывают подавленность и понижают способность к деятельности, хотя они отлично служат для того, чтобы побудить живое существо оберегаться от какого-либо большого или внезапного зла. С другой стороны, приятные ощущения могут долго продолжаться, не оказывая никакого подавляющего действия; напротив, они вызывают повышенную деятельность всей системы. Таким образом и произошло, что большинство или все чувствующие существа так развились путем естественного отбора, что приятные ощущения служат им привычными руководителями. Мы наблюдаем это в том чувстве удовольствия, которое доставляет нам напряжение - иногда даже весьма значительное - наших телесных и умственных сил, в удовольствии, которое доставляет нам каждый день еда, и особенно в том удовольствии, которое проистекает из нашего общения с другими людьми и из любви к членам нашей семьи. Сумма такого рода ставших обычными или часто повторяющихся удовольствий доставляет большинству чувствующих существ - я почти не сомневаюсь в этом - избыток счастья над страданиями, хотя многие время от времени испытывают немало страданий. Эти страдания вполне совместимы с верой в Естественный Отбор, действие которого несовершенно и который направлен только к тому, чтобы обеспечить каждому виду возможно больший успех в борьбе с другими видами за жизнь, борьбе, протекающей в исключительно сложных и меняющихся условиях.

Никто не оспаривает того факта, что в мире много страданий. В отношении человека некоторые [мыслители] пытались объяснить этот факт, допустив, будто страдание служит нравственному совершенствованию человека. Но число людей в мире ничтожно по сравнению с числом всех других чувствующих существ, а им часто приходится очень тяжело страдать без какого бы то ни было отношения к вопросу о нравственном совершенствовании. Существо столь могущественное и столь исполненное знания, как бог, который мог создать вселенную, представляется нашему ограниченному уму всемогущим и всезнающим, и предположение, что благожелательность бога не безгранична, отталкивает наше сознание, ибо какое преимущество могли бы представлять страдания миллионов низших животных на протяжении почти бесконечного времени? Этот весьма старый довод против существования некой разумной первопричины, основанный на наличии в мире страдания, кажется мне очень сильным, между тем как это наличие большого количества страданий, как уже было только что отмечено, прекрасно согласуется с той точкой зрения, согласно которой все органические существа развились путем изменения и естественного отбора.

В наши дни наиболее обычный аргумент в пользу существования разумного бога выводится из наличия глубокого внутреннего убеждения и чувств, испытываемых большинством людей. Не приходится, однако, сомневаться в том, что индуизм, магометане и другие могли бы таким же образом и с равной силой согласиться с существованием единого бога или многих богов, или же - подобно буддистам - с отсутствием какого бы то ни было бога. Существует также много диких племен, о которых нельзя с какой-либо достоверностью утверждать, что они обладают верой в то, что мы называем богом: и действительно, они верят в духов или в привидения, и, как показали Тэйлор и Герберт Спенсер, можно объяснить, каким образом, по всей

вероятности, подобные верования возникли.

В прежнее время чувства, подобные только что упомянутым (не думаю, впрочем, что религиозное чувство было когда-либо сильно развито во мне), приводили меня к твердому убеждению в существовании бога и в бессмертии души. В своем «Дневнике» я писал, что «невозможно дать сколько-нибудь точное представление о тех возвышенных чувствах изумления, восхищения и благоговения, которые наполняют и возвышают душу», когда находишься в самом центре грандиозного бразильского леса. Хорошо помню свое убеждение в том, что в человеке имеется нечто большее, чем одна только жизнедеятельность его тела. Но теперь даже самые величественные пейзажи не могли бы возбудить во мне подобных убеждений и чувств. Могут справедливо сказать, что я похож на человека, потерявшего способность различать цвета, и что всеобщее убеждение, людей в существовании красного цвета лишает мою нынешнюю неспособность к восприятию этого цвета какой бы то ни было ценности в качестве доказательства [действительного] отсутствия его.

Этот довод был бы веским, если бы все люди всех рас обладала одним и тем же внутренним убеждением в существовании единого бога; но мы знаем, что в действительности дело обстоит отнюдь не так. Я не считаю поэтому, что подобные внутренние убеждения и чувства имеют какое-либо значение в качестве доказательства того, что бог действительно существует. То душевное состояние, которое в прежнее время возбуждали во мне грандиозные пейзажи и которое было внутренне связано с верой в бога, по существу не отличается от состояния, которое часто называют чувством возвышенного; и как бы трудно ни было объяснить происхождение этого чувства, вряд ли можно ссылаться на него как на доказательство существования бога с большим правом, чем на сильные, хотя и неясные чувства такого же рода, возбуждаемые музыкой.

Что касается бессмертия, то ничто не демонстрирует мне [с такой ясностью], насколько сильна и почти инстинктивна вера в него, как рассмотрение точки зрения, которой придерживается в настоящее время большинство физиков, а именно, что солнце и все планеты со временем станут слишком холодными для жизни, если только какое-нибудь большое тело не столкнется с солнцем и не сообщит ему таким путем новую жизнь. Если верить, как верю я, что в отдаленном будущем человек станет гораздо более совершенным существом, чем в настоящее время, то мысль о том, что он и все другие чувствующие существа обречены на полное уничтожение после столь продолжительного медленного прогресса, становится невыносимой. Тем, кто безоговорочно допускает бессмертие человеческой души, разрушение нашего мира не покажется столь ужасным.

Другой источник убежденности в существовании бога, источник, связанный не с чувствами, а с разумом, производит на меня впечатление гораздо более веского. Он заключается в крайней трудности или даже невозможности представить себе эту необъятную и чудесную вселенную, включая сюда и человека с его способностью заглядывать далеко в прошлое и будущее, как результат слепого случая или необходимости. Размышляя таким образом, я чувствую себя вынужденным обратиться к Первопричине, которая обладает интеллектом, в какой-то степени аналогичным разуму человека, т. е. заслуживаю названия Теиста (Насколько я в состоянии вспомнить, это умозаключение сильно владело мною приблизительно в то время, когда я писал «Происхождение видов», но именно с этого времени его значение для меня начало, крайне медленно и не без многих колебаний, все более и более ослабевать.). Но в таком случае - возникает сомнение в том, можно ли положиться на человеческий ум в его попытках строить такого рода обширные заключения; на человеческий ум, развившийся, как я твердо убежден, из того слабого ума, которым обладают более низко организованные животные? Не имеем

ли мы здесь дела с результатом такой связи между причиной и следствием, которая поражает нас своим [характером] необходимости, но которая, вероятно, зависит только лишь от унаследованного опыта? Не следует также упускать из виду возможности постоянного внедрения веры в бога в умы детей, внедрения, производящего чрезвычайно сильное и, быть может, наследуемое воздействие на их мозг, не вполне еще развитый, так что для них было бы так же трудно отбросить веру в бога, как для обезьяны - отбросить ее инстинктивный страх и отвращение по отношению к змее. Я не могу претендовать на то, чтобы пролить хотя бы малейший свет на столь трудные для понимания проблемы. Тайна начала всех вещей неразрешима для нас, и что касается меня, то я должен удовольствоваться тем, что остаюсь Агностиком.

Человек, не обладающий твердой и никогда не покидающей его верой в существование личного бога или в будущую жизнь с ее воздаянием и наградой, может, насколько я в состоянии судить, избрать в качестве правила жизни только одно: следовать том импульсам и инстинктам, которые являются наиболее сильными или кажутся ему наилучшими. В этом роде действует собака, но она делает это слепо, между тем как человек может предвидеть и оглядываться назад и сравнивать различные свои чувства, желания и воспоминания. И вот, в согласии с суждением всех мудрейших людей, он обнаруживает, что наивысшее удовлетворение он получает, если следует определенным импульсам, а именно - социальным инстинктам. Если он будет действовать на благо других людей, он будет получать одобрение со стороны своих близких и приобретать любовь тех, с кем он живет, а это последнее и есть, несомненно, наивысшее наслаждение, какое мы можем получить на нашей Земле. Постепенно для него будет становиться невыносимым охотнее повиноваться своим чувственным страстям, нежели своим высшим импульсам, которые, когда они становятся привычными, почти могут быть названы инстинктивными. По временам его разум может подсказывать ему, что он должен действовать вразрез с мнением других людей, чье одобрение он в таком случае не заслужит, но он все же будет испытывать полное удовлетворение от сознания, что он следовал своему глубочайшему убеждению или совести. Что касается меня самого, то я думаю, что поступал правильно, неуклонно занимаясь наукой и посвятив ей всю свою жизнь. Я не совершил какого-либо серьезного греха и не испытываю поэтому никаких угрызений совести, но я очень и очень часто сожалел о том, что не оказал больше непосредственного добра моим близким. Единственным, но недостаточным извинением является для меня то обстоятельство, что я много болел, а также моя умственная конституция, которая делает для меня крайне затруднительным переход от одного предмета или занятия к другому. Я могу вообразить себе, что мне доставила бы высокое удовлетворение возможность уделять благотворительным делам все мое время, а не только часть его, хотя и это было бы куда лучшей линией поведения.

Нет ничего более замечательного, чем распространение религиозного неверия, или рационализма, на протяжении второй половины моей жизни. Перед моей предсвадебной помолвкой мой отец советовал мне тщательно скрывать мои сомнения [в религии], ибо, говорил он, ему приходилось видеть, какое исключительное несчастье откровенность этого рода доставляла вступившим в брак лицам. Дела шли прекрасно до тех пор, пока жена или муж не заболели, но тогда некоторые женщины испытывали тяжелые страдания, так как сомневались в возможности духовного спасения своих мужей, и этим в свою очередь причиняли страдания мужьям. Отец добавлял, что в течение своей долгой жизни он знал только трех неверующих женщин, а следует помнить, что он был хорошо знаком с огромным множеством людей и отличался исключительной способностью завоевывать доверие к себе. Когда я спросил его, кто были эти три женщины, он,

говоря с уважением об одной из них, своей свояченице Китти Веджвуд, признался, что у него нет безусловных доказательств, а только неопределенные предположения, поддерживаемые убеждением в том, что такая глубокая и умная женщина не могла быть верующей. В настоящее время - при моем небольшом круге знакомых - я знаю (или знал раньше) несколько замужних женщин, вера которых была не на много сильнее, чем вера их мужей.

Мой отец любил рассказывать о неопровержимом аргументе, при помощи которого одна старая дама, некая миссис Барло, подозревавшая отца в неверии, надеялась обратить его: «Доктор! Я знаю, что сахар сладок во рту у меня, и [так же] знаю, что мой Спаситель существует».

Жизнь в Лондоне

От моего возвращения в Англию 2 октября 1886 г. до женитьбы 29 января 1839 г. - В эти два года и три месяца я развил большую активность, чем в какой-либо другой период моей жизни, хотя по временам я чувствовал себя плохо, и часть времени оказалась поэтому потерянной. Проездив несколько раз взад и вперед между Шрусбери, Мэром, Кембриджем и Лондоном, я поселился 13 декабря в Кембридже, где хранились под наблюдением Генсло все мои коллекции. Здесь я прожил три месяца и с помощью профессора Миллера произвел определение моих минералов и горных пород.

Я начал готовить к печати мой «Дневник путешествия», - это было нетрудным делом, так как рукописный «Дневник» был составлен мною тщательно, и мне пришлось потрудиться главным образом над тем, чтобы кратко изложить [свои] наиболее интересные научные результаты. По просьбе Ляйелля я послал также в Геологическое общество краткий отчет о моих наблюдениях над поднятием берегов Чили.

7 марта 1837 г. я поселился в Лондоне на Грейт-Марльборо-стрит и прожил там почти два года, до самой женитьбы. В течение этих двух лет я закончил свой «Дневник путешествия», сделал несколько докладов в Геологическом обществе, начал готовить к печати рукописи моих «Геологических наблюдений» и организовал публикацию «Зоологических результатов путешествия на „Бигле"». В июле я начал свою первую записную книжку о фактах, относящихся к *Происхождению Видов*, проблеме, над которой я уже давно размышлял и над которой никогда не переставал работать в течение следующих двадцати лет.

В продолжение этих двух лет я стал также немного бывать в свете и исполнял обязанности одного из почетных секретарей Геологического общества. Очень часто я встречался с Ляйеллем. Одной из его главных черт было сочувственное отношение к работе других, и я был в равной мере удивлен и восхищен тем интересом, с которым он отнесся к моим взглядам на коралловые рифы, когда по возвращении в Англию я познакомил его с ними. Меня очень поощрило такое его отношение, а его советы и собственный его пример оказали на меня большое влияние. В этот же период я нередко встречался также с Робертом Броуном - этим «*facile princeps botanicorum*»; я постоянно навещал его в воскресные дни по утрам, когда он завтракал, и в беседах со мной он раскрывал предо мною целую сокровищницу любопытных наблюдений и остроумных замечаний, но почти всегда они касались незначительных предметов, никогда он не обсуждал со мною больших и имеющих общее значение проблем науки.

На протяжении этих двух лет я совершил несколько экскурсий на небольшие расстояния с целью отдохнуть от работы и одну далекую - к параллельным террасам Глен-Роя, отчет о которой был опубликован мною в «*Philosophical Transactions*». Эта статья была моей крупной неудачей, и я стыжусь ее. Находясь

под глубоким впечатлением своих наблюдений над поднятием суши в Южной Америке, я приписал эти параллельные линии действию моря, но я должен был отказаться от этой точки зрения, когда Агассиц выдвинул свою теорию ледниковых озер. Я настаивал на действии моря по той причине, что при тогдашнем состоянии наших знаний невозможно было предложить какое-либо другое объяснение, но моя ошибка послужила мне хорошим уроком - никогда не полагаться в науке на принцип исключения.

Так как я не был в состоянии в течение всего дня заниматься научной работой, то в эти два года я прочитал порядочное количество книг по самым разнообразным вопросам, в том числе и несколько книг метафизического содержания; однако занятия такого рода были не очень-то по мне. В то время мне доставляла большое наслаждение поэзия Вордсворта и Кольриджа, и могу похвастать тем, что «Экскурсию» [Вордсворта] я прочитал дважды и притом с начала до конца. Когда-то я больше всего любил «Потерянный рай» Мильтона и когда я отправлялся на экскурсии, которые совершал во время путешествия на «Бигле», и имел возможность взять с собою не более одной книги, я неизменно выбирал Мильтона.

Со времени моей женитьбы 29 января 1839 г. и проживания на Аппер-Гауэр-стрит до нашего отъезда из Лондона и переселения в Даун 14 сентября 1842 г. - Все вы прекрасно знаете свою мать, знаете, какой доброй матерью она всегда была для всех вас. Она - мое величайшее счастье, и я могу сказать, что за всю мою жизнь я ни разу не слышал от нее ни единого слова, о котором я мог бы сказать, что предпочел бы, чтобы оно вовсе не было произнесено. Ее отзывчивая доброта ко мне была всегда неизменной, и она с величайшим терпением переносила мои вечные жалобы на недомогания и неудобства. Уверен, что она никогда не упускала возможности сделать доброе дело для кого-нибудь из тех, кто ее окружал. Меня изумляет то исключительное счастье, что она, человек, стоящий по всем своим нравственным качествам неизмеримо выше меня, согласилась стать моей женой. Она была моим мудрым советником и светлым утешителем всю мою жизнь, которая без нее была бы на протяжении очень большого периода времени жалкой и несчастной из-за болезни. Она снискала любовь и восхищение всех, кто находился вблизи нее.

(Мет: У меня сохранилось ее прекрасное письмо ко мне, написанное вскоре после нашей свадьбы.)

В отношении своей семьи я был действительно в высшей степени счастлив, и должен сказать вам, мои дети, что никто из вас никогда не доставлял мне никакого беспокойства, если не считать ваших заболеваний. Полагаю, что не много существует отцов, у которых есть пять сыновей и которые могут с полной правдивостью сделать подобное заявление. Когда вы были совсем маленькими, мне доставляло наслаждение играть с вами, и я с тоской думаю, что эти дни никогда уже не вернутся. С самого раннего детства и до нынешнего дня, когда вы стали взрослыми, все вы, мои сыновья и дочери, были в высшей степени милыми, симпатичными и любящими нас [родителей] и друг друга. Когда все вы или большинство вас собирается дома (что, благодарение небесам, случается довольно часто), то на мой вкус никакое другое общество не может быть для меня более приятным, да я и не жажду никакого другого общества. Мы испытали лишь единственное безмерно тяжёлое горе, когда в Молверне 24 апреля 1851 г. умерла Энни, которой только что исполнилось десять лет. Это была в высшей степени ласковая и любящая девочка, и я уверен, что она стала бы очаровательной женщиной. Но я не буду говорить здесь об ее характере, так как сейчас же после ее смерти я написал о ней коротенький очерк. Слезы **все** еще иногда застилают мне глаза, когда я вспоминаю о милых чертах ее характера.

За три года и восемь месяцев нашей жизни в Лондоне я выполнил меньше

научной работы, чем за любой другой такой же промежуток времени в моей жизни, хотя работал с максимальным для моих сил усердием. Причиной этого были часто повторявшиеся недомогания и одно длительное и серьезное заболевание. Когда я бывал в состоянии что-либо делать, то большую часть времени я посвящал работе над «Коралловыми рифами», которую начал еще до женитьбы и последний корректурный лист которой был подписан мною 6 мая 1842 г. Книга эта, хотя она и невелика по объему, стоила мне двенадцати месяцев напряженного труда, так как мне пришлось прочитать все работы об островах Тихого океана и справляться с множеством морских карт. Люди науки были высокого мнения об этой книге, и мне кажется, что теория, изложенная в ней, теперь вполне упрочилась.

Ни один другой мой труд не был начат в таком чисто дедуктивном плане, как этот, ибо вся теория была придумана мною, когда я находился на западном берегу Южной Америки, до того, как я увидел хотя бы один настоящий коралловый риф. Мне оставалось поэтому лишь проверить и развить свои взгляды путем тщательного исследования живых [коралловых] рифов. Правда, нужно заметить, что в течение двух предшествующих лет я имел возможность непрерывно наблюдать то действие, которое оказывали на берега Южной Америки перемежающееся поднятие суши совместно с процессами денудации и образования осадочных отложений. Это с необходимостью привело меня к длительным размышлениям о результатах процесса опускания [суши], и было уже нетрудно мысленно заместить непрерывное образование осадочных отложений ростом кораллов, направленным вверх. Сделать это - и значило построить мою теорию образования барьерных рифов и атоллов.

За время моей жизни в Лондоне я, помимо работы над «Коралловыми рифами», прочитал в Геологическом обществе доклады об «Эрратических валунах в Южной Америке», о «Землетрясениях» и об «Образовании почвенного слоя в результате деятельности дождевых червей». Я продолжал также руководить изданием «Зоологических результатов путешествия на „Бигле“». Кроме того, я не прекращал все время собирать факты, имеющие отношение к [проблеме] происхождения видов; этим мне удавалось подчас заниматься в такие моменты, когда из-за болезни я не мог делать ничего другого.

Летом 1842 г. я чувствовал себя крепче, чем за все последнее время, и совершил небольшую поездку в Северный Уэльс с целью произвести наблюдения над [следами] действия древних ледников, заполнявших некогда все более обширные долины. Краткий отчет о том, что мне удалось увидеть, я опубликовал в «Philosophical Magazine». Экскурсия эта оказалась для меня очень интересной, но и последней: в последний раз в моей жизни у меня хватило достаточно сил, чтобы карабкаться по горам и подолгу ходить пешком, что необходимо при геологической работе.

В течение первого времени нашей жизни в Лондоне здоровье мое было еще достаточно крепким, так что я мог бывать в обществе, и мне пришлось увидеть немало ученых и других более или менее выдающихся людей. Приведу мои впечатления о некоторых из них, хотя я могу мало сообщить такого, что заслуживало бы упоминания.

И до моей женитьбы и после нее мне приходилось больше, чем с кем-либо другим, встречаться с Ляйеллем. Его ум отличался, как мне казалось, ясностью, осторожностью, трезвостью суждения и высокой степенью оригинальности. Когда я обращался к нему с каким-нибудь замечанием по геологии, он не мог успокоиться до тех пор, пока весь вопрос не становился для него ясным, и часто он делал проблему и для меня более ясной, чем это было до тех пор. Обычно он выдвигал все возможные возражения против моего предположения и даже после того, как все они, казалось, были исчерпаны, он все еще продолжал сомневаться. Другой характерной чертой его было горячее сочувствие к работам других ученых.

По возвращении из путешествия на «Бигле» я ознакомил его с моими идеями относительно коралловых рифов; взгляды наши по этому вопросу различались, и меня чрезвычайно поразил и поощрил тот живой интерес, который был им проявлен [к моей теории]. В подобных случаях, будучи погружен в размышления, он принимал чрезвычайно странные позы, часто клал голову на спинку стула, в то же самое время вставая со стула. Науку он любил страстно и испытывал самый горячий интерес к будущему прогрессу человечества. Он отличался большой добротой; в своих религиозных взглядах или, вернее, в своем неверии он проявлял полное свободомыслие, но он был убежденным теистом. В высшей степени замечательной была его честность. Он проявил это, став уже на старости лет сторонником эволюционной теории, несмотря на то, что до этого снискал себе громкую известность как противник взглядов Ламарка. Он напомнил мне [по этому поводу], как, обсуждая с ним за много лет до того оппозицию его новым воззрениям со стороны геологов старой школы, я сказал ему: «Как хорошо было бы, если бы все ученые умирали в шестидесятилетнем возрасте, потому что, перешагнув за этот возраст, они обязательно начинают оказывать сопротивление каждому новому учению». Но теперь - выразил он надежду - ему будет позволено жить и дольше. Он обладал сильно выраженным чувством юмора и часто рассказывал забавные анекдоты. Он очень любил общество, особенно - общество выдающихся людей и лиц высокого положения, и это чрезмерно большое преклонение перед положением, которое человек занимает в свете, казалось мне его главным недостатком. Он любил вполне серьезно обсуждать с леди Ляйелл вопрос о том, принять или нет то или иное приглашение на обед. Но так как он не хотел обедать вне дома более трех раз в неделю, чтобы не терять времени, тщательное взвешивание сделанных ему приглашений было вполне понятно. Он надеялся, что в качестве большого вознаграждения в будущем, с годами, он сможет чаще бывать на званых вечерах, но эти благие времена так и не наступили, ибо силы его сдали.

Геологическая наука бесконечно обязана Ляйеллю, больше, я думаю, чем кому-либо другому на свете. Когда я отправлялся в путешествие на «Бигле», проницательный Генсло, который, как и все другие геологи, верил в то время в последовательные катастрофы, посоветовал мне достать и изучить впервые появившийся тогда первый том «Основных начал [геологии]», но ни в коем случае не принимать отстаиваемых там воззрений. До какой степени по-иному высказался бы об «Основных началах» любой ученый в настоящее время! С удовольствием вспоминаю, что первое же место, где я занялся геологическими исследованиями, а именно - Сант-Яго в архипелаге Зеленого мыса, убедило меня в бесконечном превосходстве воззрений Ляйелля над взглядами, которые отстаивались в любом другом известном мне труде [по геологии]. Мощное воздействие, оказанное [на развитие геологии] трудами Ляйелля, можно было уже в то время отчетливо видеть в том различии, которое представляли успехи [геологической] науки во Франции и в Англии.

Полное забвение в настоящее время диких гипотез Эли де-Бомона, вроде его «кратеров поднятия» и «линий поднятия» (а мне еще пришлось слышать, как последнюю гипотезу Седжвик превозносил до небес в Геологическом обществе), является в значительной степени заслугой Ляйелля.

Я был более или менее хорошо знаком со всеми выдающимися геологами в ту эпоху, когда геология совершала свое триумфальное шествие. Почти все они нравились мне, за исключением Бекленда, который, хотя и отличался веселостью и добродушием, казался мне вульгарным и даже грубым человеком. Его стимулом была скорее страсть к славе, которая по временам заставляла его действовать подобно шуту, нежели любовь к науке. В своем стремлении к славе он не был, однако, эгоистом: когда Ляйелл, будучи еще молодым человеком, посоветовался с

ним относительно того, представлять ли ему в Геологическое общество слабенькую статью, присланную ему каким-то иностранцем, Бекленд ответил ему: «Лучше представьте, потому что в заголовке будет указано «Сообщено Чарлзом Ляйеллем», и таким образом ваше имя станет известным публике».

Пользу, которую Мурчисон принес геологии своей классификацией древних формаций, трудно переоценить; однако он далеко не обладал философским складом ума. Он был очень добросердечен и чрезвычайно старался оказать услугу любому человеку. Размеры, до которых доходило у него преклонение перед общественным положением человека, были смехотворны, и он проявлял это чувство и свое тщеславие с непосредственностью ребенка. Как-то он с необычайным ликованием рассказал в залах Геологического общества большому кругу людей, среди которых было много и не очень близко ему знакомых, как царь Николай, будучи в Лондоне, похлопал его по плечу и сказал, имея в виду его геологические труды, «Мой друг, Россия благодарна вам!»; затем, потирая руки, Мурчисон добавил: «Самое лучшее было то, что принц Альберт слышал все это». Однажды он сообщил Совету Геологического общества, что его большое сочинение о силурийских отложениях вышло, наконец, в свет; затем он посмотрел на всех присутствующих и сказал, словно бы это было [для них] вершиной славы: «Каждый из вас до единого найдет свое имя в указателе [к книге]».

Часто встречался я с Робертом Броуном - этим «*facile princeps Botanicorum*», как его называл Гумбольдт; до того, как я женился, я посещал его по утрам почти каждое воскресенье, подолгу просяживая с ним. Самой замечательной чертой его казалась мне детальность его наблюдений и их абсолютная точность. Он никогда не обсуждал со мною каких-либо обширных (философских) научных биологических вопросов. Знания его были исключительно обширны, но многое умерло вместе с ним из-за его крайней боязни в чем-либо ошибиться. Без всякой скрытности он выкладывал мне свои сведения, но к некоторым вещам относился удивительно ревниво. Еще до путешествия на «Бигле» я был у него раза два или три, и однажды он предложил мне посмотреть в микроскоп и описать то, что я увижу. Я сделал это, и теперь я думаю, что это было поразительное явление движения протоплазмы в какой-то растительной клетке. Но тогда я спросил его, что ж это такое я видел, и он ответил мне (а ведь я был тогда всего лишь мальчиком и мне предстояло покинуть вскоре Англию на пять лет): «Это мой маленький секрет!» Полагаю, что он боялся, как бы я не украл у него его открытие. Гукер говорил мне, что Броун был отчаянным скрягой - и сам знал, что он скряга, - в отношении своих гербарных растений: он отказался одолжить Гукеру свои экземпляры, когда тот описывал растения Огненной Земли, хотя отлично знал, что сам он никогда не займется обработкой своей коллекции [растений] этой страны. С другой стороны, он был способен на самые великодушные поступки. В старости, когда здоровье его было сильно расшатано и он совершенно не переносил никакого напряжения сил, он (как рассказывал мне Гукер) ежедневно навещал жившего довольно далеко от него своего старого слугу, которого он поддерживал, и читал ему вслух. Этого достаточно, чтобы примириться с любой степенью научной скарденности и подозрительности. Он был склонен подсмеиваться над людьми, которые пишут о вещах, не вполне попятных им; помню, что, когда я расхваливал ему «Историю индуктивных наук» Юэлла, он заметил: «Да! Думаю, что он прочитал предисловия к очень многим книгам».

В то время, когда я жил в Лондоне, я часто встречался с Оуэном очень им восхищался, но я никогда не способен был раскусить его и так и не мог установить с ним близких отношений. После выхода в свет «Происхождения видов» он стал моим злейшим врагом, но не из-за какой-нибудь ссоры между нами, а насколько я могу судить - из зависти к успеху «Происхождения». Бедный дорогой Фоконер, - этот очаровательнейший человек, - был очень плохого мнения об Оуэне - он был

убежден, что Оуэн не только честолюбив, крайне завистлив и высокомерен, но и неправдив и недобросовестен. В способности ненавидеть Оуэн был безусловно непревзойден. Когда в былые времена я пытался защищать Оуэна, Фоконер не раз говорил: «Когда-нибудь вы разгадаете его!» И так оно и случилось.

В период несколько более поздний я очень сблизился с Гукером, который оставался одним из моих лучших друзей в продолжение всей жизни. Он восхитительный товарищ и в высшей степени добросердечен. Можно сразу же видеть, что он благороден до мозга костей. Он обладает очень острым умом и большой способностью к обобщению. Он самый неутомимый работник, какого мне когда-либо приходилось видеть: он способен весь день просидеть за микроскопом, не переставая работать, а вечером быть столь же свежим и приятным, как всегда. Он во всех отношениях чрезвычайно впечатлителен, а иногда бывает вспыльчивым, но облака почти немедленно рассеиваются. Однажды он прислал мне крайне сердитое письмо, и гнев его был вызван причиной, которая постороннему человеку должна показаться до нелепого незначительной: дело в том, что одно время я поддерживал глупую идею, согласно которой наши каменноугольные растения обитали в море в мелководной зоне. Его негодование было тем большим, что он не мог допустить, чтобы он когда-либо в состоянии был бы заподозрить, что мангровы (и немногие другие морские растения, названные мною) были обитателями моря, если бы они были известны нам в одном только ископаемом состоянии. В другой раз он пришел почти в такое же негодование из-за того, что я с презрением отвергнул представление, по которому между Австралией и Южной Америкой некогда простирался материк. Вряд ли я знал человека более привлекательного, чем Гукер.

Несколько позже я сблизился с Гёксли. Он обладает умом столь же быстрым, как вспышка молнии, и столь же острым, как бритва. Он лучший собеседник, какого я когда-либо знал. Он никогда ничего не пишет, никогда ничего не говорит плоско. Судя по его разговору, никто не заподозрил бы, что он умеет расправляться со своими противниками в столь резкой форме, как он способен делать и действительно делает это. Он - мой самый сердечный друг и всегда готов взять на себя любые хлопоты для меня. Он - главный в Англии поборник принципа постепенной эволюции органических существ. Как ни блестяща работа, которую он осуществил в зоологии, он сделал бы гораздо больше, если бы не должен был так широко расточать свое время на официальную и литературную деятельность и на усилия по улучшению преподавания в нашей стране. Думаю, он позволит мне напомнить ему об одном случае: много лет назад мне доставляло сожаление то обстоятельство, что Гёксли нападает на столь многих ученых, хотя я считал, что в каждом отдельном случае он был прав, - и именно это я сказал ему; он с негодованием отрицал это обвинение, и я ответил, что очень рад слышать, что я ошибся. Мы говорили тогда о его вполне обоснованных нападках на Оуэна. Спустя некоторое время я сказал: «Как хорошо вы разоблачили грубые ошибки Эренберга»; он согласился и добавил, что в интересах науки необходимо, чтобы подобные ошибки были раскрыты. Еще через некоторое время я добавил: «Бедный Агассиц! Не поздоровилось же ему, когда он попал к вам в руки». Затем я упомянул еще одно имя, и тогда его блестящие глаза метнули на меня проницательный взгляд, он разразился хохотом и как-то по-особому выругался по моему адресу. Он блестящий человек и хорошо поработал на благо человечества.

Могу упомянуть здесь еще о нескольких выдающихся людях, с которыми я изредка встречался, но о них я могу сказать мало такого, что заслуживало бы упоминания. Я испытывал чувство глубокого уважения к сэру Дж. Гершелю, и мне доставило большое удовольствие отобедать у него в его прелестном доме на Мысе Доброй Надежды, а впоследствии и в его лондонском доме. Встречался я с ним также и в нескольких других случаях. Он никогда не говорил много, но каждое

произнесенное им слово заслуживало того, чтобы быть выслушанным. Он был очень застенчив и часто выражение лица у него было страдальческим. Леди Каролина Бен, у которой я обедал на Мысе Доброй Надежды, очень восхищалась Гершелем, но говорила, что он всегда входит в комнату с таким видом, будто он знает, что у него руки не вымыты, и при этом он знает также, что жене его известно, будто они действительно грязные.

Однажды на завтраке у сэра Р. Мурчисона я встретился с прославленным Гумбольдтом, который оказал мне честь, выразив желание повидаться со мной. Великий человек немного разочаровал меня, но мои ожидания были, вероятно, слишком преувеличены. У меня не сохранилось никаких отчетливых воспоминаний о нашей беседе, за исключением того, что Гумбольдт был очень весел и много говорил.

Довольно часто я посещал Баббеджа и постоянно бывал на его знаменитых вечерах. Его всегда стоило послушать, но он производил впечатление разочарованного, неудовлетворенного человека, и часто или даже обычно у него было угрюмое выражение лица. Не думаю, однако, чтобы он и наполовину был таким сердитым, каким хотел казаться. Однажды он сказал мне, что изобрел эффективный способ прекращать любой пожар, но добавил при этом: «Я не опубликую его, пусть все они пропадут, пусть сгорят все их дома!» «Все» -это были жители Лондона. В другой раз он рассказал мне, что видел в Италии у обочины одной дороги насос с благочестивой надписью, гласившей, что владелец устроил этот насос из любви к богу и родине, дабы усталые путники могли напиться. Это побудило Баббеджа внимательно осмотреть насос, и он сразу же установил, что путник, накачивая немного воды для себя, одновременно накачивал гораздо большее количество для дома владельца. Баббедж добавил: «Есть только одна вещь, которую я ненавижу еще сильнее, чем набожность: это - патриотизм». Но я думаю, что он больше бранился, чем сердился на самом деле.

Герберт Спенсер казался мне очень интересным как собеседник, но он не особенно нравился мне, и я чувствовал, что мы с ним никогда не могли бы легко сблизиться. Думаю, что он был в высшей степени эгоцентричен. Прочитав какую-либо из его книг, я обычно испытывал восторженное восхищение перед его необыкновенными талантами, часто пытаюсь вообразить себе, будет ли он в отдаленном будущем поставлен в один ряд с такими великими людьми, как Декарт, Лейбниц и другие, относительно которых, впрочем, я очень мало осведомлен. И тем не менее, у меня нет такого чувства, что я извлек из сочинений Спенсера какую-либо пользу для моих собственных трудов. Его дедуктивный метод трактовки любого вопроса совершенно противоположен строю моего ума. Его умозаключения никогда не убеждали меня, и, прочитав какое-либо из его рассуждений, я все снова и снова говорил самому себе: «Да ведь это было бы превосходным объектом на десяток лет работы». Должен сказать, что его фундаментальные обобщения (которые некоторыми лицами сравнивались по их значению с законами Ньютона!), быть может, и представляют большую ценность с философской точки зрения, но по своему характеру не кажутся мне имеющими сколько-нибудь строго научное значение. Характер их таков, что они напоминают скорее [простые] определения, нежели [формулировки] законов природы. Они не могут оказать никакой помощи в предсказании того, что должно произойти в том или ином частном случае. Как бы то ни было, мне они не принесли никакой пользы.

Этот мой рассказ о Спенсере приводит меня на память Бокля, которого я однажды встретил у Генсли Веджвуда. Я был очень рад узнать от него об его системе собирания фактов. Он рассказал мне, что покупает все книги, которые намерен прочитать, и составляет к каждой полный указатель фактов, которые, как ему кажется, могут оказаться полезными для него, и что он всегда может вспомнить, в

какой книге он прочитал то или другое, ибо память у него замечательная. Я спросил его, как он может заранее судить о том, какие факты ему могут понадобиться в будущем, и он ответил на это, что сам не знает, но что им руководит какой-то инстинкт. Благодаря этой привычке составлять указатели он и оказался в состоянии привести поразительное количество ссылок по самым различным вопросам, которое мы находим в его «Истории цивилизации [в Англии]». Книга эта казалась мне очень интересной, и я прочитал ее дважды, но я сомневаюсь в том, что обобщения Бокля чего-нибудь стоят. Г. Спенсер говорил мне, что он никогда не прочитал ни одной строки его! Бокль был мастер поговорить, и я слушал его, почти ни слова не произнеся сам, да я и не мог бы сделать атого, потому что пауз в его речи не было. Когда Эффи начала петь, я вскочил и сказал, что должен ее послушать. Это, я думаю, обидела его, ибо после того как я отошел, он повернулся к одному своему приятелю и сказал (брат мой случайно услышал его слова): «Ну, книги мистера Дарвина куда лучше, чем его разговор!» В действительности же он хотел сказать, что я недостаточно оценил его беседу.

Из других крупных представителей литературы я встретился однажды в доме декана Милмена с Сиднеем Смитом. В каждом его слове было что-то необъяснимо забавное. Быть может, это получалось отчасти по той причине, что от него заранее ждали какого-нибудь веселого словца. Он говорил о лэди Корк, которая была тогда очень стара. Эта лэди, сказал он, была однажды так тронута одной из его благотворительных проповедей, что заняла у одной своей знакомой гинею, чтобы положить, ее на тарелку для бедных. Затем он добавил: «Обычно все находят, что моя старая приятельница лэди Корк не оценена по заслугам!», -но сказал он это так, что ни у кого не осталось ни малейшего сомнения в том, будто он сказал, что его старая приятельница не оценена по заслугам дьяволом. Каким образом удалось ему создать такое впечатление, я не знаю.

Встретился я однажды и с Маколеем в доме лорда Станхопи (историка), и так как на обеде, кроме нас, присутствовал только еще один гость, то я имел превосходный случай послушать беседу Маколея, и надо сказать, что он был очень приятный человек. Говорил он отнюдь не много, да и нельзя сказать о человеке, что он слишком много говорит, раз он предоставляет возможность другим направлять беседу по любому руслу, а Маколей именно так и поступал.

Как-то лорд Станхоп сообщил мне одну любопытную деталь, свидетельствующую о точности и богатстве памяти Маколея: в доме лорда Станхопа часто собиралось много историков; обсуждая разные вопросы, они иногда расходились во мнениях с Маколеем, и если в первое время они часто наводили справки в какой-нибудь книге, чтобы выяснить, кто из них был прав, то впоследствии, как заметил лорд Станхоп, ни один историк уже не доставлял себе этого труда, и то, что сказал Маколей, считалось окончательным.

В другой раз я познакомился в доме лорда Станхопа с одной из посещавших его групп историков и литераторов и среди них с Мотли и Гротом. После завтрака я почти целый час прогуливался с Гротом по Чивнипг-Парку: я был очень заинтересован беседой с ним и очарован его простотой и отсутствием какой бы то ни было претенциозности в его манерах.

Во время завтрака в доме лорда Стапхопа в Лондоне я познакомился с рядом других видных людей. Когда завтрак подходил к концу, вошел Монктон Милнс (ныне лорд Хоутон) и, поглядев на всех вокруг, воскликнул (оправдывая данное ему Сиднеем Смитом прозвище «Вечерний холодок»): «Должен заявить, что все вы крайне несвоевременны».

В былые годы мне случалось обедать со старым графом Станхопом - отцом историка. Я слышал, что его отец, хорошо известный в эпоху Французской революции своими демократическими убеждениями, обучил своего сына ремеслу

кузнеца, ибо, как он заявлял, каждый человек должен владеть каким-нибудь ремеслом. Старый граф, с которым я был знаком, был странный человек, но на основании того немногого, что я сам мог видеть, он очень нравился мне. Он отличался искренностью, веселым нравом и был приятен в обращении. У него были резкие черты лица и коричневого цвета кожа, и, сколько я его ни видел, одет он был всегда во все коричневое. По-видимому, он верил во все то, что другим казалось совершенно невероятным. Однажды он сказал мне: «Почему вы не бросите все эти ваши геологические и зоологические пустяки и не займетесь оккультными науками?». Историк (именовавшийся тогда лордом Мэхоном) был, по-видимому, смущен такого рода обращением ко мне, но его очаровательную жену оно сильно насмешило.

Последний, о ком мне хочется упомянуть, это - Карлейль. Я встречался с ним несколько раз в доме моего брата, а раза два или три он бывал и у меня. Говорил он очень красочно и интересно, так же как и писал, но иногда - слишком долго об одном и том же. Помню один забавный обед у моего брата, на котором в числе немногих других гостей были Баббедж и Ляйелл, оба любившие поговорить. Но Карлейль заставил молчать обоих, разглагольствуя в продолжение всего обеда о преимуществах молчания. После обеда Баббедж с самым мрачным видом поблагодарил Карлейля за его крайне интересную лекцию о молчании.

Не было почти ни одного человека, над которым Карлейль не издевался бы. Однажды, находясь у меня, он назвал «Историю» Грота «вонючим болотом, в котором нет ничего одухотворенного». Пока не появились его «Воспоминания», мне все казалось, что издевки его - отчасти, по крайней мере, - не более, чем шутки, но теперь я склонен сильно сомневаться в этом. У него было выражение лица подавленного, почти совсем павшего духом, но доброжелательного человека, и хорошо известно, как он умел от души смеяться. Думаю, что доброжелательность его была неподдельной, хотя ее портила немалая примесь зависти. Не подлежит никакому сомнению его необычайная способность живописать события и людей, причем, как мне кажется, делал он это гораздо более ярко, чем Маколей. Иной вопрос, соответствуют ли истине созданные им образы.

Он был всемогущ, когда хотел запечатлеть в человеческих умах некоторые великие истины морали. И вместе с тем, его взгляды на рабство были возмутительны. В его глазах, сила была правом. Ум его казался мне очень узким, если даже не принимать во внимание естествознание, все отрасли которого он презирал. Меня удивляет, что Кинтоли мог говорить о нем как о человеке, который был вполне способен содействовать развитию науки. Презрительный смех вызвало у него утверждение, что математик, и притом такой, как Юэлл, может судить, - а я утверждал, что может, - о воззрениях Гете на [природу] света. Ему казалось страшно смешным, что можно всерьез интересоваться тем, двигался ли ледник несколько быстрее или несколько медленнее, и двигался ли он вообще. Насколько я могу судить, никогда не встречал я человека, который по складу своего ума был бы в такой степени неспособен к научному исследованию.

Жизнь в Дауне

Жизнь в Дауне с 14 сентября 1842 г. до настоящего времени. - С 1876 г.

После того как в течение некоторого времени наши поиски в Суррее и других местах оказались безрезультатными, мы нашли и купили дом, в котором живем теперь. Мне понравилось разнообразие растительности, свойственное меловой местности и столь непохожее на то, к чему я привык в Центральных графствах; еще более понравились мне полное спокойствие и подлинно сельский характер этого места. Однако это вовсе не такое глухое место, каким изображает его какой-то

писатель в одном немецком журнале, заявляя, что добраться до моего дома можно только по тропинке, доступной одним мулам! Наше решение поселиться здесь оказалось удивительно удачным в одном отношении, которого мы не могли бы и предвидеть: место это очень удобно для того, чтобы нас могли часто навещать наши дети, которые никогда не упускают возможности сделать это, если позволяют обстоятельства.

Вероятно, мало кто вел такую уединенную жизнь, как мы. Если не считать непродолжительных поездок в гости к родственникам, редких выездов на взморье или еще куда-нибудь, мы почти никуда не выезжали. В первый период нашего пребывания [в Дауне] мы изредка бывали в обществе и принимали немногих друзей у себя; однако мое здоровье всегда страдало от любого возбуждения - у меня начинались припадки сильной дрожи и рвоты. Поэтому в течение многих лет я вынужден был отказываться решительно от всех званых обедов, и это было для меня известным лишением, потому что такого рода встречи всегда приводили меня в прекрасное настроение. По этой же причине я мог и сюда, в Даун, приглашать только очень немногих ученых, с которыми я был знаком. Пока я был молод и здоров, я был способен устанавливать с людьми очень теплые отношения, но в позднейшие годы, хотя я все еще питаю очень дружеские чувства по отношению ко многим лицам, я потерял способность глубоко привязываться к кому бы то ни было, и даже к моим добрым и дорогим друзьям Гукеру и Гёкслю я привязан уже не так глубоко, как в былые годы. Насколько я могу судить, эта прискорбная утрата чувства [привязанности] развивалась во мне постепенно - вследствие того, что я опасался утомления, а затем и вследствие [действительно наступавшего] изнеможения, которое под конец сочеталось в моем представлении со встречей и разговором в течение какого-нибудь часа с кем бы то ни было, за исключением моей жены и детей.

Главным моим наслаждением и единственным занятием в течение всей жизни была научная работа, и возбуждение, вызываемое ею, позволяет мне на время забывать или и совсем устраняет мое постоянное плохое самочувствие. Мне нечего поэтому рассказывать о всех дальнейших годах моей жизни, кроме сведений о публикации нескольких моих книг. Может быть, некоторые подробности, касающиеся истории их возникновения, заслуживают того, чтобы остановиться на них.

Дневник натуралиста

В начале 1844 г. были опубликованы мои наблюдения над вулканическими островами, посещенными во время путешествия на «Бигле». В 1845 г. я затратил много труда на подготовку нового издания моего «Дневника изысканий», который первоначально был опубликован в 1839 г. в виде одной из частей труда Фип-Роя. Успех этого первого моего литературного детища все еще доставляет моему тщеславию большее удовольствие, чем успех какой-либо другой из моих книг. Даже по сей день в Англии и Соединенных Штатах существует постоянный спрос на эту книгу; она была вторично переведена на немецкий язык, ее перевели также на французский и другие языки. Такой успех книги о путешествии, и притом - научном путешествии, спустя столько лет после первого ее издания, вызывает удивление. В Англии разошлось десять тысяч экземпляров второго издания. В 1846 г. была опубликована моя работа «Геологические наблюдения над [берегами] Южной Америки». В небольшом дневнике, который я постоянно вел, я записал, что три мои книги по геологии (включая «Коралловые рифы») потребовали четырех с половиною лет непрерывного труда, «а ныне прошло десять лет со времени моего возвращения в Англию. Как много времени потерял я из-за болезни!» Об этих трех книгах мне нечего сказать, кроме того, что, к моему удивлению, недавно потребовалось новое

издание их.

Усоногие раки

В октябре 1846 г. я начал работать над «Усоногими [раками]». Во время пребывания на побережье Чили я нашел чрезвычайно любопытную форму, которая вбуравливается в раковины *Concholeras*; она настолько сильно отличается от всех других усоногих, что мне пришлось для этой единственной формы создать новый подотряд. Недавно родственный род сверлящих [усоногих] был найден у берегов Португалии. Чтобы разобраться в строении моей новой формы усоногих, я занялся изучением и анатомированием ряда обычных форм, и это постепенно привело меня к исследованию всей группы. В течение восьми ближайших лет я непрерывно работал над этим предметом и в конце концов издал два толстых тома, содержащих описание всех известных современных видов, и два тонких *in quarto* о вымерших видах. Не сомневаюсь, что сэр Э. Литтон-Булвер, выведя в одном из своих романов некоего профессора Лонга, который написал два увесистых тома о ракушках, имел в виду меня.

Хотя я занимался этим трудом в продолжение восьми лет, но, как я отмечаю в своем «Дневнике», около двух лет из этого времени были потеряны мною из-за болезни. Именно по этой причине я поехал в 1848 г. на несколько месяцев в Молверп, чтобы провести там курс гидропатического лечения; оно подействовало на меня очень хорошо, так что, вернувшись домой, я оказался в состоянии вновь приступить к работе. Однако здоровье мое было настолько плохо, что когда 13 ноября 1847 г. умер мой дорогой отец, я не мог ни присутствовать на его похоронах, ни выполнить обязанности одного из его душеприказчиков.

Думаю, что мой труд об усоногих раках имеет немалую ценность, так как помимо того, что я описал несколько новых и замечательных форм, я выяснил гомологию различных частей [их тела], открыл цементный аппарат, хотя ужасно напутал с цементными железами, и, наконец, доказал существование у определенных родов мельчайших дополнительных самцов, паразитирующих на гермафродитных особях. Это последнее открытие в конце концов полностью подтвердилось, хотя однажды какому-то немецкому автору вздумалось нацело приписать его моему плодовитому воображению. Усоногие представляют собой сильно варьирующую и трудно поддающуюся классификации группу видов, и мой труд оказал мне весьма большую пользу при обсуждении в «Происхождении видов» принципов естественной классификации. И тем не менее я сомневаюсь в том, стоило ли затрачивать на этот труд так много времени.

Происхождение видов

Начиная с сентября 1854 г. я посвящал все свое время приведению в порядок гигантской массы заметок, а также наблюдениям и экспериментам по вопросу о трансмутации видов. Во время путешествия на «Бигле» на меня произвели глубокое впечатление, [во-первых], открытие в пампасской формации [Патагонии] гигантских ископаемых животных, которые были покрыты панцирем, сходным с панцирем современных броненосцев, во-вторых, то обстоятельство, что по мере продвижения по материке [Южной Америки] в южном направлении близко родственные [виды] животных определенным образом замещают одни других, и, в-третьих, южноамериканский характер большинства обитателей Галапагосского архипелага, в особенности же тот факт, что [близко родственные] виды различных островов архипелага известным образом незначительно отличаются друг от друга; [при этом] ни один из островов [архипелага] не является, по-видимому, очень древним в

геологическом смысле.

Было очевидно, что такого рода факты, так же как и многие другие, можно было объяснить [только] на основании предположения, что виды постепенно изменялись, и проблема эта стала преследовать меня. Однако в равной мере было очевидно и то, что ни действие окружающих условий, ни воля организмов (особенно, когда идет речь о растениях) не в состоянии объяснить бесчисленные случаи превосходной приспособленности организмов всякого рода к их образу жизни, например, приспособленности дятла или древесной лягушки к лазанию по деревьям или приспособленности семян к распространению при помощи крючков или летучек. Меня всегда крайне поражали такого рода приспособления, и мне казалось, что до тех пор, пока они не получают объяснения, почти бесполезно делать попытки обосновать при помощи косвенных доказательств тот факт, что виды [действительно] изменялись.

После того как я вернулся в Англию, у меня явилась мысль, что, следуя примеру Ляйелля в геологии и собирая все факты, которые имеют хотя бы малейшее отношение к изменению животных и растений в условиях одомашнения и в природе, удастся, быть может, пролить некоторый свет на всю проблему в целом. Моя первая записная книжка была начата в июле 1837 г.¹ Я работал подлинно бэконовским методом и без какой бы то ни было [заранее созданной] теории собирал в весьма обширном масштабе факты, особенно - относящиеся к одомашненным организмам, путем печатных запросов, бесед с искусными животноводами и садоводами и чтения обширной литературы. Когда я просматриваю список всякого рода книг, включая сюда целые серии журналов и трудов [ученых обществ], которые я прочитал и из которых сделал извлечения, я сам поражаюсь своему трудолюбию. Вскоре я понял, что краеугольным камнем успехов человека в создании полезных рас животных и растений был отбор. Однако в течение некоторого времени для меня оставалось тайной, каким образом отбор мог быть применен к организмам, живущим в естественных условиях.

В октябре 1838 г., т. е. спустя пятнадцать месяцев после того, как я приступил к своему систематическому исследованию, я случайно, ради развлечения прочитал книгу Мальтуса «О народонаселении» и так как благодаря продолжительным наблюдениям над образом жизни животных и растений я был хорошо подготовлен к тому, чтобы оценить [значение] повсеместно происходящей борьбы за существование, меня сразу поразила мысль, что при таких условиях благоприятные изменения должны иметь тенденцию сохраняться, а неблагоприятные - уничтожаться. Результатом этого и должно быть образование новых видов. Теперь, наконец, я обладал теорией, при помощи которой можно было работать, но я так сильно стремился избежать какой бы то ни было предвзятой точки зрения, что решил в течение некоторого времени не составлять в письменной форме даже самого краткого очерка теории. В июне 1842 г. я впервые решился доставить себе удовлетворение и набросал карандашом на 35-ти страницах очень краткое резюме моей теории; в течение лета 1844 г. я расширил это резюме до очерка на 230-ти страницах, который я тщательно переписал и храню у себя до настоящего времени.

Но в то время я упустил из виду одну проблему, имеющую огромное значение, и меня изумляет, - если только не вспомнить анекдота о колумбовом яйце, - каким образом я мог не обратить внимания как на самую проблему, так и на путь к ее разрешению. Проблема эта - тенденция органических существ, происходящих от одного и того же корня, расходиться, по мере того как они изменяются, в своих признаках. Тот факт, что они значительно разошлись, с очевидностью следует из принципа, на основании которого мы в состоянии всевозможные виды классифицировать в роды, роды - в семейства, семейства - в подотряды и так далее; я точно помню то место дороги, по которой я проезжал в карете, где, к моей радости,

мне пришло в голову решение этой проблемы; это было много времени спустя после моего переезда в Даун. Решение это, как я полагаю, состоит в том, что измененное потомство всех господствующих и количественно возрастающих форм имеет тенденцию приспособиться к многочисленным и весьма разнообразным [по своим условиям] местам в экономии природы.

Уоллес

В начале 1856 г. Ляйелл посоветовал мне изложить мои взгляды с достаточной подробностью, и я сразу же приступил к этому в масштабе, в три или четыре раза превышавшем объем, в который впоследствии вылилось мое «Происхождение видов», - и все же это было только извлечение из собранных мною материалов. Придерживаясь этого масштаба, я проделал около половины работы, но план мой был полностью расстроен, когда в начале лета 1858 г. м-р Уоллес, который находился тогда [на островах] Малайского архипелага, прислал мне свой очерк «О тенденции разновидностей к неограниченному отклонению от первоначального типа»; этот очерк содержал в точности ту же теорию, что и моя. М-р Уоллес выразил желание, чтобы я - в случае, если я отнесусь одобрительно к его очерку - переслал его для ознакомления Ляйеллю.

Обстоятельства, при которых я согласился по просьбе Ляйелля и Гукера на опубликование извлечения из моей рукописи [1844 г.] и моего письма к Аза Грею от 5 сентября 1857 г. одновременно с очерком Уоллеса, изложены в «Journal of the Proceedings of the Linnean Society» за 1858 год, стр. 45. Сначала мне очень не хотелось идти на это: я полагал, что м-р Уоллес может счесть мой поступок совершенно непозволительным, - я не знал тогда, сколько великодушия и благородства в характере этого человека. Ни извлечение из моей рукописи, ни письмо к Аза Грею не предназначались для печати и были плохо написаны. Напротив, очерк м-ра Уоллеса отличался прекрасным изложением и полной ясностью. Тем не менее, наши изданные совместно работы привлекли очень мало внимания, и единственная заметка о них в печати, которую я могу припомнить, принадлежала профессору Хоутону из Дублина, приговор которого сводился к тому, что все новое в них неверно, а все верное - не ново. Это показывает, насколько необходимо любую новую точку зрения разъяснить с надлежащей подробностью, чтобы привлечь к ней всеобщее внимание.

Публикация «Происхождения»

В сентябре 1858 г. я принялся, по настоятельному совету Ляйелля и Гукера, за работу по подготовке тома о трансмутации видов, но работа часто прерывалась болезнью и непродолжительными поездками в прелестную гидропатическую лечебницу доктора Лэйна в Мур-Парке. Я сократил рукопись, начатую в значительно большем масштабе в 1856 г., и завершил книгу, придерживаясь этого сокращенного масштаба. Это стоило мне тринадцати месяцев и десяти дней напряженного труда. Книга под титулом «Происхождение видов» была опубликована в ноябре 1859 г. Хотя последующие издания были значительно дополнены и исправлены, в существе своем книга осталась без изменений.

Совершенно несомненно, что эта книга - главный труд моей жизни. С первого момента [своего появления] она пользовалась чрезвычайно большим успехом. Первое небольшое издание в 1250 экземпляров разошлось в день выхода в свет, а вскоре после того [было распродано] и второе издание в 3000 экземпляров. До настоящего времени (1876г.) в Англии разошлось шестнадцать тысяч экземпляров, и если учесть, насколько трудна эта книга для чтения, нужно признать, что это -

большое количество. Она была переведена почти на все европейские языки, даже на испанский, чешский, польский и русский. По словам мисс Бэрд, она была переведена также на японский язык и широко изучается в Японии. Даже на древнееврейском языке появился очерк о ней, доказывающий, что моя теория содержится в Ветхом завете!. Число рецензий было очень большим; в течение некоторого времени я собирал все, что появлялось [в печати] о «Происхождении» и других моих книгах, [тематически] связанных с ним, и число рецензий (не считая появлявшихся в газетах) достигло 265,- тогда я в отчаянии бросил это дело. Появилось и много самостоятельных этюдов и книг по вопросу [поднятому мною], а в Германии стали ежегодно или раз в два года издавать каталоги или библиографические справочники по «Дарвинизму».

Успех «Происхождения» можно, я думаю, в большой мере приписать тому, что задолго до этой книги я написал два сжатых очерка и что в конечном счете она явилась результатом сокращения гораздо более обширной рукописи, которая, однако, и сама была извлечением [из обширных материалов]. Благодаря этому я имел возможность отобрать наиболее разительные факты и выводы. Кроме того, в течение многих лет я придерживался следующего золотого правила: каждый раз, как мне приходилось сталкиваться с каким-либо опубликованным фактом, новым наблюдением или мыслью, которые противоречили моим общим выводам, я обязательно и не откладывая делал краткую запись о них, ибо, как я убедился на опыте, такого рода факты и мысли обычно ускользают из памяти гораздо скорее, чем благоприятные [для тебя]. Благодаря этой привычке, против моих воззрений было выдвинуто очень мало таких возражений, на которые я [уже заранее] по крайней мере не обратил бы внимания или не пытался найти ответ на них.

Иногда высказывалось мнение, что успех «Происхождения» доказал, что «идея носилась в воздухе» или что «умы людей были к ней подготовлены». Я не думаю, чтобы это было вполне верно, ибо я не раз осторожно нащупывал мнение немалого числа натуралистов, и мне никогда не пришлось встретить ни одного, который казался бы сомневающимся в постоянстве видов. Даже Ляйелл и Гукер, хотя и с интересом выслушивали меня, никогда, по-видимому, не соглашались со мною. Один или два раза я пытался объяснить способным людям, что я понимаю под естественным отбором, но попытки мои были удивительно безуспешны. Я думаю, несомненная истина заключается в том, что в умах натуралистов накопилось бесчисленное количество хорошо установленных фактов, и эти факты готовы были стать на свои места, как только была бы достаточно обоснована какая-либо теория, которая могла бы их охватить. Другим моментом, определившим успех книги, был ее умеренный размер; этим я обязан появлению очерка м-ра Уоллеса; если бы я опубликовал книгу в том объеме, в котором я начал писать ее в 1856 г., она была бы в четыре или в пять раз больше «Происхождения», и у очень немногих хватило бы терпения прочитать ее.

Я много выиграл, промедлив с публикацией книги примерно с 1839 г., когда теория ясно сложилась у меня, до 1859 г., и я ничего не потерял при этом, ибо весьма мало заботился о том, кому припишут больше оригинальности - мне или Уоллесу, а его очерк, без сомнения, помог восприятию теории. Только в одном важном вопросе меня опередили, и мое тщеславие всегда заставляло меня жалеть об этом; вопрос этот - объяснение при помощи ледникового периода наличия одних и тех же видов растений и некоторых немногочисленных видов животных на отдаленных друг от друга горных вершинах и в полярных областях. Это воззрение так сильно нравилось мне, что я письменно изложил его в развернутом виде, и мне кажется, что Гукер прочитал написанное мною за несколько лет до того, как Э. Форбс опубликовал свой знаменитый мемуар по этому вопросу. Продолжаю думать, что в тех, очень немногих, пунктах, по которым мы с ним разошлись, драв был я. Разумеется, я ни

разу не намекнул в печати, что разработал это представление совершенно независимо [от Форбса].

Вряд ли что-либо другое доставило мне в процессе работы над «Происхождением» столь большое удовлетворение, как объяснение огромного различия, которое существует во многих классах между зародышем и взрослым животным, и близкого сходства между зародышами [различных видов животных] одного и того же класса. Насколько я в состоянии вспомнить, в ранних рецензиях на «Происхождение» не было сделано ни одного замечания относительно этого момента, и я выразил, помнится, свое удивление по этому поводу в одном из писем к Аза Грею. За последние годы некоторые рецензенты стали приписывать эту идею целиком Фрицу Мюллеру и Геккелю, которые, несомненно, разработали ее гораздо более полно и в некоторых отношениях более правильно, что это сделал я. Моих материалов по этому вопросу хватило бы на целую главу, и я должен был развернуть обсуждение его с большей подробностью, ибо очевидно, что мне не удалось произвести впечатление на моих читателей; однако именно тому, кто сумел добиться этого, и должна быть отдана, по моему мнению, вся честь [открытия].

В связи с этим должен заметить, что мои критики почти всегда обращались со мной честно, если оставить в стороне тех из них, которые не обладали научными знаниями, ибо о них и не стоит говорить. Мои взгляды нередко грубо искажались, ожесточенно оспаривались и высмеивались, но я убежден, что по большей части все это делалось без вероломства. Должен, однако, сделать исключение в отношении м-ра Майварта, который, как выразился о нем в письме один американец, обращался со мною, «как *pettifogger*» или, как сказал Гёксли, «подобно адвокату из Олд-Бейли». В общем же у меня нет никаких сомнений в том, что слишком часто мои труды расхваливались сверх всякой меры. Я рад, что избегал полемики, и этим я обязан Ляйеллю, который много лет назад по поводу моих геологических работ настоятельно рекомендовал мне никогда не ввязываться в полемику, так как она редко приносит пользу и не стоит той потери времени и того плохого настроения, которые она вызывает.

Каждый раз, когда я обнаруживал, что мною была допущена грубая ошибка или что моя работа в том или ином отношении несовершенна, или когда меня презрительно критиковали, или даже тогда, когда меня чрезмерно хвалили, и в результате всего этого я чувствовал себя огорченным, - величайшим утешением для меня были слова, которые я сотни раз повторял самому себе: «Я трудился изо всех сил и старался, как мог, а ни один человек не в состоянии сделать больше этого». Вспоминаю, как, находясь в Бухте Доброго Успеха на Огненной Земле, я подумал (и кажется, написал об этом домой), что не смогу использовать свою жизнь лучше, чем пытаюсь внести кое-какой вклад в естествознание. Это я и делал по мере своих способностей, и пусть критики говорят, что им угодно, в этом они не смогут разубедить меня.

В течение двух последних месяцев 1859 г. я был всецело занят подготовкой второго издания «Происхождения» и огромной перепиской. 7 января 1860 г. я начал приводить в порядок свои заметки для работы об «Изменениях животных и растений в условиях одомашнивания», но она была опубликована только в начале 1868 г.; задержка эта отчасти объясняется то и дело повторявшимися приступами болезни, которая один раз затянулась на семь месяцев, отчасти же - соблазном выступать в печати с работами по другим вопросам, которые в тот или иной момент больше интересовали меня.

Опыление орхидей

15 мая 1862 г. вышла в свет моя небольшая книга «Опыление орхидей»; я

потратил на нее десять месяцев труда, но большинство приводимых в ней фактов медленно накапливалось в продолжение нескольких предшествовавших лет. В течение лета 1839 г., а быть может, еще и летом предыдущего года, я пришел к необходимости заняться изучением перекрестного опыления цветков при посредстве насекомых - меня побудил к этому вывод, сделанный мною в ходе рассуждений о происхождении видов, а именно, что скрещивание играло важную роль в поддержании постоянства видовых форм. Я продолжал заниматься этим вопросом то больше, то меньше и в течение летних месяцев р. следующих лет, но мой интерес к нему особенно возрос после того,] в ноябре 1841 г. я достал и прочитал по совету Роберта Броуна экземпляр замечательной книги Х. К. Шпренгеля «Das entdeckte Geheimn der Natur». До 1862 г. я специально изучал на протяжении нескольких лет процесс опыления у наших британских орхидей, и мне казалось, что целесообразнее будет подготовить исчерпывающий (насколько я в состоянии это сделать) трактат об этой группе растений, нежели использовать огромное множество данных, которые я постепенно собрал [но вопросу об опылении] в отношении других растений.

Решение мое оказалось благоразумным, ибо после выхода в ев моей книги появилось изумительное количество статей и монографических работ об опылении цветков самых различных растений, и р боты эти были выполнены гораздо лучше, чем мог бы, вероятно, осуществить это я. Заслуги бедного старого Шпренгеля, так долго остававшиеся незамеченными, теперь, через много лет после его смерти, полностью признаны.

В том же году я напечатал в «Journal of the Linnean Society» статью «О двух формах, или диморфном состоянии, примулы», а на протяжении следующих пяти лет - еще пять статей о диморфных и триморфных растениях. Не думаю, чтобы что-либо еще в моей научной деятельности доставило мне столь большое удовлетворение, как то, что мне удалось выяснить значение строения [цветков] этих растений. В 1838 или 1839 г. я обратил внимание на диморфизм *Linum flavum*, но решил сначала, что это всего лишь случай безразличной изменчивости. Однако, исследуя обычный вид примулы, я обнаружил, что две формы встречаются у нее слишком регулярно и постоянно, чтобы можно было удовлетвориться таким взглядом на них. Вследствие этого у меня явилось почти твердое убеждение в том, что обыкновенные баранчики [*Primula veris*] и первоцвет [*Pr. vulgaris*] находятся па прямой дороге к превращению в двудомные формы и что короткие пестики у одной формы и короткие тычинки у другой имеют тенденцию к тому, чтобы оставаться недоразвитыми. С такой точки зрения и были произведены опыты над этими растениями, но как только было обнаружено, что цветки с короткими пестиками при опылении их пылью коротких тычинок дают больше семян, чем любой другой из четырех возможных союзов, теории недоразвития был нанесен смертельный удар. После некоторых дополнительных опытов стало очевидным, что обе формы, хотя и являются вполне выраженными гермафродитами, относятся друг к другу почти в точности так же, как два пола у любого обычного животного. У *Lythrum* мы встречаем еще более замечательный случай, когда в подобном же отношении одна к другой находятся три формы. Впоследствии я установил, что потомство, полученное от союза двух растений, принадлежащих к одной и той же форме, обнаруживает близкую и любопытную аналогию с гибридами, полученными от союза двух различных видов.

Осенью 1864 г. я закончил большую статью о «Лазящих растениях» и послал ее в Линнеевское общество. Работа над этой статьей отняла у меня четыре месяца, а когда я получил ее в корректуре, я до такой степени плохо чувствовал себя, что вынужден был оставить корректурные листы нетронутыми, хотя статья была написана очень плохо, а местами и весьма неясно. Статья мало обратила на себя

внимания, но когда в 1875 г. она была исправлена и вышла отдельной книгой, спрос на нее был хороший. Заняться этим вопросом побудила меня небольшая статья Аза Грея о движениях усиков одного тыквенного растения, опубликованная в 1858 г. Он прислал мне семена, и, вырастив из них несколько растений, я был так очарован и вместе с тем охвачен недоумением при виде вращательных движений усиков и стеблей, - движений в сущности очень простых, но на первый взгляд кажущихся очень сложными, - что я добыл различные другие виды лазящих растений и принялся за изучение всего вопроса в целом. Он тем более привлекал меня, что я отнюдь не был удовлетворен объяснением, которое давал нам на своих лекциях Генсло, заявлявший, что вьющимся растениям свойственно естественное стремление расти вверх по спирали. Это объяснение оказалось совершенно ошибочным. Некоторые приспособления, обнаруживаемые лазящими растениями, столь же прекрасны, как приспособления орхидей, обеспечивающие перекрестное опыление.

Изменения животных и растений в условиях одомашнения

Мой труд «Изменения животных и растений в условиях одомашнения» был начат, как уже указывалось выше, в начале 1860 г., но оставался неопубликованным вплоть до начала 1868 г. Это огромная книга, и стоила она мне четырех лет и двух месяцев напряженного труда. В ней приведены все мои наблюдения и гигантское количество собранных из различных источников фактов относительно наших домашних организмов. Во втором томе были подвергнуты обсуждению - в той мере, в какой это позволяет современное состояние наших знаний - причины и законы изменчивости, наследственности и т. д.

Гипотеза Пангенезиса

В конце этого труда я привожу свою гипотезу Пангенезиса, которую так основательно разругали. Непроверенная гипотеза представляет небольшую ценность или и совсем не имеет ее; но если со временем кому-нибудь придется заняться наблюдениями, которые могли бы подтвердить какую-нибудь из подобных гипотез, то я окажу ему добрую услугу, так как при помощи моей гипотезы можно связать воедино и сделать понятными поразительное количество изолированных фактов. В 1875 г. вышло второе, значительно исправленное издание, стоившее мне большого труда.

Происхождение человека

Мой труд «Происхождение человека» был опубликован в феврале 1871 г. Как только я пришел к убеждению, в 1837 или 1838 г., что виды представляют собой продукт изменения, я не мог уклониться от мысли, что и человек должен был произойти в силу того же закона. В соответствии с этим я начал собирать заметки по этому вопросу для своего собственного удовлетворения, так как в течение долгого времени не имел никакого намерения выступить в печати. Хотя в «Происхождении видов» совершенно не обсуждается происхождение какого-либо отдельного вида, я считал все же за лучшее - дабы ни один добросовестный человек не мог обвинить меня в том, что я скрываю свои взгляды - добавить [слова о том], что благодаря моей работе «будет пролит свет на происхождение человека и его историю». Однако выставлять напоказ свои убеждения в вопросе о происхождении человека, не приведя никаких доказательств, было бы бесполезно, а для успеха книги [о происхождении видов] даже и вредно.

Но когда я увидел, что многие натуралисты полностью приняли учение об

эволюции видов, мне показалось целесообразным обработать имевшиеся у меня заметки и опубликовать специальный трактат о происхождении человека. Замысел этот был тем более по душе мне, что он давал мне удобный случай полностью обсудить проблему полового отбора, - проблему, которая всегда очень интересовала меня. Этот вопрос и вопрос об изменениях наших домашних организмов, а также вопросы о причинах и законах изменчивости, наследственности и пр. и о перекрестном опылении растений - единственные вопросы, которые мне удалось изложить с достаточной полнотой, используя все собранные мною материалы. «Происхождение человека» я писал три года, но и на этот раз, как обычно, часть времени была потеряна из-за болезни, а часть ушла на подготовку новых изданий [моих книг] и на другие работы меньшего объема. Второе, значительно исправленное издание «Происхождения [человека]» появилось в 1874 г.

Выражение эмоций и другие книги

Моя книга о «Выражении эмоций у человека и животных» вышла в свет осенью 1872 г. Сначала я имел намерение посвятить этому вопросу только одну главу в «Происхождении человека», но как только я начал приводить в порядок свои заметки, я увидел, что вопрос этот потребует особого трактата.

Мой первый ребенок родился 27 декабря 1839 г., и я сразу же начал делать заметки о первых проблесках различного рода выражения [эмоций], которые он проявлял, так как уже в тот ранний период я испытывал убеждение, что все самые сложные и тонкие оттенки выражения [эмоций] должны были иметь постепенное и естественное происхождение. В течение лета следующего, 1840-го, года я прочитал превосходный труд сэра Ч. Белла о выражении [эмоций], и это значительно повысило интерес, который я испытывал к данному вопросу, хотя я никак не мог согласиться с мнением сэра Ч. Белла, будто различные мышцы были специально созданы для выражения [эмоций]. С тех пор я время от времени занимался этим вопросом применительно как к человеку, так и к домашним животным. Моя книга широко разошлась: 5267 экземпляров были проданы в день ее выхода в свет.

Летом 1860 г. я не работал и поехал отдохнуть близ Хартфилда, где в изобилии встречаются два вида росянки [Drosera], и я заметил, что их листья улавливают большое количество насекомых. Я принес домой несколько экземпляров этого растения и, дав им насекомых, увидел движение щупалец; это навело меня на мысль, что насекомые были, возможно, захвачены с какой-то специальной целью. К счастью, мне пришло в голову сделать решающее испытание, поместив большое количество листьев в различные азотистые и неазотистые жидкости одинаковой плотности, и как только я обнаружил, что только первые вызывают энергичные движения [листьев], стало очевидным, что здесь открывается прекрасное новое поле для исследования.

В последующие годы, как только мне представлялся досуг, я продолжал свои опыты, и в июле 1875 г., то есть через шестнадцать лет после моих первых наблюдений, вышла в свет моя книга о «Насекомоядных растениях». Как случилось и со всеми другими моими книгами, промедление и на этот раз принесло мне большую пользу, - после такого большого промежутка времени можно критически оценить свою собственную работу, отнесясь к ней почти так же, как если бы она была написана другим человеком. Тот факт, что при надлежащем раздражении растение выделяет жидкость, содержащую кислоту и фермент и вполне аналогичную пищеварительному соку какого-либо животного, представляет собой, несомненно, замечательное открытие.

Осенью 1876 г. я выпущу в свет мой труд «Действие перекрестного опыления и самоопыления в растительном мире». Эта книга составит дополнение к моей работе

об «Опылении орхидей», в которой я показал, как совершенны средства к перекрестному опылению; здесь же я покажу, как важны его результаты. К постановке многочисленных, продолжавшихся одиннадцать лет опытов, излагаемых в этой книге, меня побудило одно чисто случайное наблюдение; и действительно, понадобилось, чтобы этот случай повторился, прежде чем мое внимание оказалось полностью прикованным к замечательному факту, который заключается в том, что сеянцы, происходящие от самоопыленных растений, уступают по своей высоте и силе, и притом уже в первом поколении, сеянцам, происходящим от растений, опыленных перекрестно. Надеюсь также вновь выпустить в свет пересмотренное издание моей книги об орхидеях, а в будущем - и мои статьи о диморфных и триморфных растениях, присоединив к ним некоторые дополнительные наблюдения по смежным вопросам, до сих пор не приведенные еще мною в порядок за отсутствием времени. После того, вероятно, силы мои иссякнут, и я готов буду воскликнуть: «Nunc dimittis».

Добавление (написано 1 мая 1881 г.)

Книга «Действие перекрестного опыления и самоопыления» вышла в свет осенью 1876 г. Результаты, приведенные в этой книге, объясняют, как мне кажется, бесчисленные и изумительные приспособления к переносу пыльцы с одного растения на другое того же вида. Теперь, однако, я считаю - главным образом на основании наблюдений Германа Мюллера, - что мне следовало решительнее, чем я это сделал, настаивать на существовании многочисленных приспособлений к самоопылению, хотя я был хорошо осведомлен о большом числе такого рода приспособлений. Значительно расширенное издание моей работы «Опыление орхидей» вышло в 1877 г.

В том же году появилось сочинение «Различные формы цветов и т. д.», а в 1880 г. - второе издание его. Эта книга состоит в основном из нескольких статей о гетеростильных цветках; в статьи эти, первоначально опубликованные Линнеевским обществом, были внесены исправления и дополнения на основании многих новых данных, в том числе - наблюдений над некоторыми другими случаями, когда одно и то же растение приносит цветки двоякого рода. Как уже было отмечено выше, ни одно из моих маленьких открытий не доставило мне такого большого удовольствия, как выяснение значения гетеростильных цветков. Результаты illegитимного скрещивания такого рода цветков кажутся мне чрезвычайно важными, так как они имеют отношение к вопросу о бесплодии гибридов; между тем только немногие ученые обратили внимание на эти результаты.

В 1879 г. я опубликовал перевод книги д-ра Эрнста Краузе «Жизнь Эразма-Дарвина» и дополнил ее очерком о характере и привычках моего деда на основании принадлежащих мне материалов. Эта маленькая биография заинтересовала очень многих лиц, и меня удивляет, что она разошлась всего лишь в количестве 800 или 900 экземпляров. Так как я случайно забыл упомянуть о том, что д-р Краузе расширил и исправил свою статью в Германии еще до того, как она была переведена [на английский язык], м-р Сэмюэл Батлер разразился с почти безумной злобой бранью по моему адресу. Я никогда не мог понять, чем собственно я так жестоко обидел его. Этот инцидент вызвал некоторую полемику в газете «Athenaeum» и в «Nature». Я представил все документы нескольким добросовестным судьям, а именно: Гёксли, Лесли Стивену, Личфилду и другим, и все они единодушно признали, что нападение Батлера было настолько лишено какого бы то ни было основания, что не заслуживает никакого публичного ответа, тем более, что я сразу же выразил м-ру Батлеру свое сожаление по поводу случайно допущенного мною упущения. В утешение Гёксли привел мне несколько немецких

строк из Гёте, который подвергся нападению со стороны одного лица; содержание их заключалось в том, «что у каждого кита есть своя вошь».

В 1880 г., пользуясь помощью Френка, я опубликовал нашу книгу «Способность к движению у растений». На нее пришлось затратить немало тяжелого труда. Книга эта находится в таком же примерно отношении к моей небольшой книге о «Лазящих растениях», как «Перекрестное опыление» к «Опылению орхидей», ибо невозможно было бы в согласии с принципом эволюции объяснить образование лазящих растений в столь многочисленных и чрезвычайно различных группах, не предположив, что в какой-то слабой степени аналогичного рода способность к движению присуща всем видам растений. Я доказал, что так в действительности и обстоит дело, а затем я пришел к довольно широкому обобщению, а именно, что все обширные и важные группы движений, возбуждаемых светом, силой тяжести и т. д., представляют собой измененные формы одного коренного движения - круговой нутации. Мне всегда было приятно повисить растения [в отношении того места, которое они должны занимать] в ряду организованных существ, и поэтому я испытал особое удовольствие, показав, какими многочисленными и изумительно хорошо приспособленными движениями обладает кончик корня.

Сейчас (1 мая 1881 г.) я сдал в печать рукопись небольшой книги об «Образовании растительного сдоя земли деятельностью дождевых червей». Вопрос этот не имеет большого значения, и я не знаю, заинтересует ли он читателей, но меня он 'заинтересовал. Книга эта представляет собою развернутое изложение небольшой статьи, доложенной мною в Геологическом обществе более сорока лет назад; она воскресила мои старые мысли по вопросам геологии.

Оценка моих умственных способностей

Итак, я перечислил все изданные мною книги, и поскольку они были вехами моей жизни, мне мало что еще остается сказать. Я не усматриваю какого-либо изменения и состояния моего ума за последние тридцать лет, за исключением одного пункта, о котором я сейчас упомяну; да и вряд ли, конечно, можно было ожидать какого-нибудь изменения, разве только - общего снижения сил. Но отец мой дожил до восьмидесяти трех лет, сохранив ту же живость ума, какая всегда была свойственна ему, и все свои способности нисколько не потускневшими; и я надеюсь, что умру до того, как ум мой сколько-нибудь заметно ослабеет. Думаю, что я стал несколько более искусным в умении находить правильные объяснения и придумывать методы экспериментальной проверки, но и это, возможно, является лишь простым результатом практики и накопления более значительного запаса знаний. Как и всегда [в прежнее время] мне очень трудно ясно и сжато выражать свои мысли, и это затруднение стоило мне огромной потери времени; однако в нем имеется и компенсирующее меня преимущество, оно вынуждает меня долго и внимательно обдумывать каждое предложение, а это нередко давало мне возможность замечать ошибки в рассуждении, а также в своих собственных и чужих наблюдениях.

По-видимому, моему уму присуща какая-то роковая особенность, заставляющая меня излагать первоначально мои утверждения и предположения в ошибочной или невразумительной форме. В прежнее время у меня была привычка обдумывать каждую фразу прежде чем записать ее, но вот уже несколько лет, как я пришел к заключению, что уходит меньше времени, если как можно скорее, самым ужасным почерком и наполовину сокращая слова набросать целые страницы, а затем уже обдумывать и исправлять [написанное]. Фразы, набросанные таким образом, часто оказываются лучше тех, которые я мог бы написать, предварительно обдумав их.

К этим словам о моей манере писать добавлю, что при составлении моих больших книг я затрачивал довольно много времени на общее распределение материала.

Сначала я делаю самый грубый набросок в две или три страницы, затем более пространный в несколько страниц, в котором несколько слов или даже одно слово даны вместо целого рассуждения или ряда фактов. Каждый из этих заголовков вновь расширяется и часто до неузнаваемости преобразуется, прежде чем я начинаю писать *in extenso* [в развернутом виде]. Так как в некоторых из моих книг были очень широко использованы факты, наблюдавшиеся другими лицами, и так как я в одно и то же время всегда занимался несколькими совершенно различными вопросами, то могу упомянуть, что я завал от тридцати до сорока больших папок, которые хранятся в шкафчиках на полках с ярлыками, и в эти папки я могу сразу поместить какую-либо отдельную ссылку или заметку. Я приобретал много книг и в когте каждой из них составлял указатель всех фактов, имеющих отношение к моей работе; если же книга не принадлежит мне, я составляю извлечение из нее, - у меня имеется большой ящик, наполненный такими извлечениями. Прежде чем приступить к работе над каким-либо вопросом, я просматриваю все краткие указатели и составляю общий систематический указатель, и беря одну или несколько соответствующих папок, я имею перед собой в готовом для использования виде все сведения, собранные мною в течение всей моей жизни.

Отношение к искусству. Как я уже сказал, в одном отношении в складе моего ума произошло за последние двадцать или тридцать лет изменение. До тридцатилетнего возраста или даже позднее мне доставляла большое удовольствие всякого рода поэзия, например, произведения Мильтона, Грея, Байрона, Вордсворта, Кольриджа и Шелли, и еще в школьные годы я с огромным наслаждением читал Шекспира, особенно его исторические драмы. Я указывал также, что в былое время находил большое наслаждение в живописи и еще большее - в музыке. Но вот уже много лет, как я не могу заставить себя прочесть ни одной стихотворной строки; недавно я пробовал читать Шекспира, но это показалось мне невероятно, до отвращения скучным. Я почти потерял также вкус к живописи и музыке. Вместо того, чтобы доставлять мне удовольствие, музыка обычно заставляет меня особенно напряженно думать о том, над чем я в данный момент работаю. У меня еще сохранился некоторый вкус к красивым картинам природы, но и они не приводят меня в такой чрезмерный восторг, как в былые годы. С другой стороны, романы, которые являются плодом фантазии, хотя и фантазии не очень высокого порядка, в течение уже многих лет служат мне чудесным источником успокоения и удовольствия, и я часто благословляю всех романистов; Мне прочли вслух необычайное количество романов, и все они нравятся мне, если они более или менее хороши и имеют счастливую развязку, - нужно было бы издать закон, запрещающий романы с печальным концом. На мой вкус, ни один роман нельзя считать первоклассным, если в нем нет хотя бы одного героя, которого можно по-настоящему полюбить, а если этот герой - хорошенькая женщина, то тем лучше.

Эта странная и достойная сожаления утрата высших эстетических вкусов тем более поразительна, что книги по истории, биографии, путешествия (независимо от того, какие научные факты в них содержатся) и статьи по всякого рода вопросам по-прежнему продолжают очень интересоваться меня. Кажется, что мой ум стал какой-то машиной, которая перемалывает большие собрания фактов в общие законы, но я не в состоянии понять, почему это должно было привести к атрофии одной только той части моего мозга, от которой зависят высшие [эстетические] вкусы. Полагаю, что человека с умом, более высоко организованным или лучше устроенным, чем мой ум, такая беда не постигла бы, и если бы мне пришлось вновь пережить свою жизнь, я установил бы для себя правило читать какое-то количество стихов и слушать какое-то количество музыки по крайней мере раз в неделю; быть может, путем такого [постоянного] упражнения мне удалось бы сохранить активность тех частей моего мозга, которые теперь атрофировались. Утрата этих вкусов равносильна утрате

счастья и, может быть, вредно отражается на умственных способностях, а еще вероятнее - на нравственных качествах, так как ослабляет эмоциональную сторону нашей природы.

Заключение

Книги мои широко расходились в Англии, были переведены на многие языки и выдержали по несколько изданий в иностранных государствах. Мне приходилось слышать утверждение, будто успех какого-либо произведения за рубежом - лучший показатель его непреходящей ценности. Сомневаюсь, чтобы такое утверждение вообще можно было бы считать правильным. Но если судить с такой точки зрения, мое имя, вероятно, на несколько лет сохранит свою известность. Поэтому мне все же стоит, быть может, сделать попытку проанализировать те умственные качества и те, условия, от которых зависел мой успех, хотя я отдаю себе отчет в том, что ни один человек не в состоянии осуществить такой анализ правильно.

Я не отличаюсь ни большой быстротой соображения, ни остроумием - качествами, которыми столь замечательны многие умные люди, например Гёксли. Поэтому я плохой критик: любая статья или книга при первом чтении обычно приводят меня в восторг, и только после продолжительного размышления я начинаю замечать их слабые стороны. Способность следить за длинной цепью чисто отвлеченных идей очень ограничена у меня, и поэтому я никогда не достиг бы успехов в философии и математике. Память у меня обширная, но неясная: ее хватает настолько, чтобы путем смутного напоминания предупредить меня, что я наблюдал или читал что-то, противоречащее выводимому мною заключению или, наоборот, подтверждающее его, а через некоторое время я обычно припоминаю, где следует искать мой источник. В одном отношении память моя крайне слаба: я никогда не в состоянии был помнить какую-либо отдельную дату или стихотворную строку дольше, чем в течение нескольких дней.

Некоторые из моих критиков говорили: «О, наблюдатель он хороший, но способности рассуждать у него нет!» Не думаю, чтобы это было верно, потому что «Происхождение видов» от начала до конца представляет собою одно длинное доказательство, и оно убедило немало способных мыслить людей. Эту книгу нельзя было бы написать, не обладая известной способностью к рассуждению. Я обладаю порядочной долей изобретательности и здравого смысла, т. е. рассудительности, в такой мере, в какой должен обладать ими всякий хорошо успевающий юрист или врач, но не в большей, как я полагаю, степени.

С другой стороны, благоприятным для меня, как я думаю, обстоятельством является то, что я превосхожу людей среднего уровня в способности замечать вещи, легко ускользающие от внимания, и подвергать их тщательному наблюдению. Усердие, проявленное мною в наблюдении и собирании фактов, было почти столь велико, каким только оно вообще могло бы быть. И что еще более важно, моя любовь к естествознанию была неизменной и ревностной. На помощь этой чистой любви приходило, однако, и честолюбивое желание снискать уважение моих товарищей натуралистов. С самой ранней юности я испытывал сильнейшее желание понять и разъяснить все, что бы я ни наблюдал, то есть подвести все факты под некоторые общие законы. Все эти причины, вместе взятые, и объясняют то терпение, с которым я мог в течение любого количества лет упорно размышлять над каким-нибудь неразрешенным вопросом. Насколько я могу судить, у меня нет склонности слепо следовать указаниям других людей. Я неизменно старался сохранять свободу мысли, достаточную для того, чтобы отказаться от любой, самой излюбленной гипотезы (а я не могу удержаться от того, чтобы не составить себе гипотезу по всякому вопросу) как только окажется, что факты противоречат ей. Да у

меня и не было другого выбора и именно таким образом мне приходилось действовать, ибо - за исключением [теории образования] коралловых рифов - я не могу вспомнить ни единой первоначально составленной мною гипотезы, которая не была бы через некоторое время отвергнута или сильно изменена мною. Это, естественно, вызвало у меня сильное недоверие к дедуктивному методу рассуждения в науках, имеющих одновременно теоретический и практический характер. С другой стороны, во мне не очень много скептицизма, а я убежден, что такой склад ума вреден для прогресса науки. Порядочная доля скептицизма полезна представителям науки, так как позволяет избежать большой потери времени, а между тем мне приходилось встречать немало людей, которые, я уверен, именно в силу этого [т. е. отсутствия у них скептицизма] уклонялись от постановки опытов и наблюдений, хотя эти опыты и наблюдения оказались бы полезными прямо или косвенно.

В качестве иллюстрации приведу самый странный из известных мне случаев. Один джентльмен (как я узнал впоследствии, хороший знаток местной флоры) написал мне из одного из восточных графств [Англии], что в этом году повсеместно семена, или бобы, у обыкновенного полевого боба выросли не с той стороны стручка, как обычно. В своем ответе я просил его сообщить мне об этом более подробно, так как не понимал, что он имеет в виду, но в течение долгого времени не получал от него ответа. Затем в двух газетах, одна из которых выходила в Кенте, а другая в Йоркшире, мне попались заметки, сообщавшие о совершенно замечательном факте: «Все бобы в этом году выросли не с той стороны». Я решил тогда, что должно быть какое-то основание для столь широко распространенного утверждения. Я пошел поэтому к своему садовнику-старiku, родом из Кента, и испросил его, не слыхал ли он чего-нибудь на этот счет. «О, нет, сэр,- ответил он,- наверно, это ошибка - ведь бобы вырастают не с той стороны только в високосные годы, а сейчас у нас год не високосный». Тогда я спросил его, как они растут в обыкновенные годы и как в високосные, и сразу же обнаружил, что он ровно ничего не знает о том, как они растут вообще в любое время, но он упорно стоял на своем.

Спустя некоторое время мой первый информатор, всячески извиняясь, сообщил мне, что не стал бы мне писать в тот раз, если бы не слышал этого утверждения от нескольких культурных фермеров; однако после того он еще раз беседовал с каждым из них, и оказалось, что ни один из них ни в малейшей степени не представлял себе, что собственно он имел в виду. Таким образом, мы имеем здесь дело со случаем, когда убеждение - если только можно назвать убеждением утверждение, с которым не связано никаких определенных представлений,- распространилось почти по всей Англии без всякого подобия доказательства.

За всю мою жизнь мне пришлось столкнуться только с тремя случаями заведомо ложных утверждений, причем одно из них было, пожалуй, мистификацией (научные мистификации не раз имели место), которая тем не менее ввела в заблуждение один американский сельскохозяйственный журнал. Речь шла о получении в Голландии новой породы быков путем скрещивания различных видов рода *Bos* (относительно некоторых из них я имел случай узнать, что при скрещивании друг с другом они не дают потомства), причем у автора хватило наглости утверждать, что он переписывался со мной и что на меня произвела большое впечатление важность полученных им результатов. Эту статью прислал мне редактор одного английского сельскохозяйственного журнала с просьбой сообщить ему мое мнение о ней до того, как он перепечатает ее [в своем журнале].

Во втором случае сообщалось о нескольких разновидностях, полученных автором от различных видов примулы и принесших спонтанно полный комплект семян, несмотря на то, что доступ насекомых к родительским растениям был нацело исключен. Это сообщение было опубликовано до того, как я открыл значение

гетеростилии, и утверждение автора либо целиком представляет собою простой обман, либо же небрежность в исключении доступа насекомых была так велика, что этому трудно даже поверить.

Более любопытен был третий случай. В своей книге о браках между единокровными родственниками м-р Хат привел несколько длинных выдержек из работы одного бельгийского автора, который утверждал, что он скрещивал кроликов, находившихся в самом близком родстве друг с другом, на протяжении очень большого числа поколений, без каких бы то ни было вредных последствий. Статья эта была напечатана в весьма солидном научном органе - журнале Бельгийского королевского медицинского общества; тем не менее, я не мог освободиться от охватившего меня сомнения - сам не знаю почему, разве лишь по причине, что в статье не было приведено ни одного неудачного случая, а мой опыт в разведении животных вынуждал меня считать это крайне невероятным.

Поэтому после многих колебаний я написал профессору Ван-Бенедену и просил его сообщить, заслуживает ли автор статьи доверия. Из полученного вскоре ответа я узнал, что Общество было глубоко смущено, так как обнаружилось, что статья эта была сплошным обманом. На страницах журнала Общества от автора публично потребовали, чтобы он сообщил, где он проживает и где содержал столь огромное количество кроликов, необходимых для его опытов, которые должны были длиться несколько лет, но никакого ответа нельзя было от него добиться. Я сообщил бедному м-ру Хату, что статья, которая составила краеугольный камень его доказательств, была лживой, и он самым благородным образом немедленно прислал мне листок [соответствующего содержания], отпечатанный для того, чтобы вложить в не распроданные еще экземпляры его книги.

В своих привычках я методичен, и это принесло мне немалую пользу при моем своеобразном способе работы. Наконец, благодаря тому, что я не должен был зарабатывать себе на хлеб, у меня было достаточно досуга. Даже плохое здоровье, хотя и отняло у меня несколько лет жизни, [пошло мне на пользу, так как] уберегло меня от рассеянной жизни в светском обществе и от развлечений.

Таким образом, мой успех как человека науки, каков бы ни размер этого успеха, явился результатом, насколько я могу судить, сложных и разнообразных умственных качеств и условий. Самыми важными из них были: любовь к науке, безграничное терпение при долгом обдумывании любого вопроса, усердие в наблюдении и собирании фактов и порядочная доля изобретательности и здравого смысла. Воистину удивительно, что, обладая такими посредственными способностями, я мог оказать довольно значительное влияние на убеждения людей науки по некоторым важным вопросам.

3 августа 1876

Этот очерк моей жизни был начат около 2 мая в Хопдене, и с тех пор я писал приблизительно по часу почти ежедневно после полудня.

+++